

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Борис Житков

ЧТО БЫВАЛО



Школьная библиотека (Детская литература)

Борис Житков

Что бывало (сборник)

Издательство «Детская литература»

Житков Б. С.

Что бывало (сборник) / Б. С. Житков — Издательство «Детская литература», — (Школьная библиотека (Детская литература))

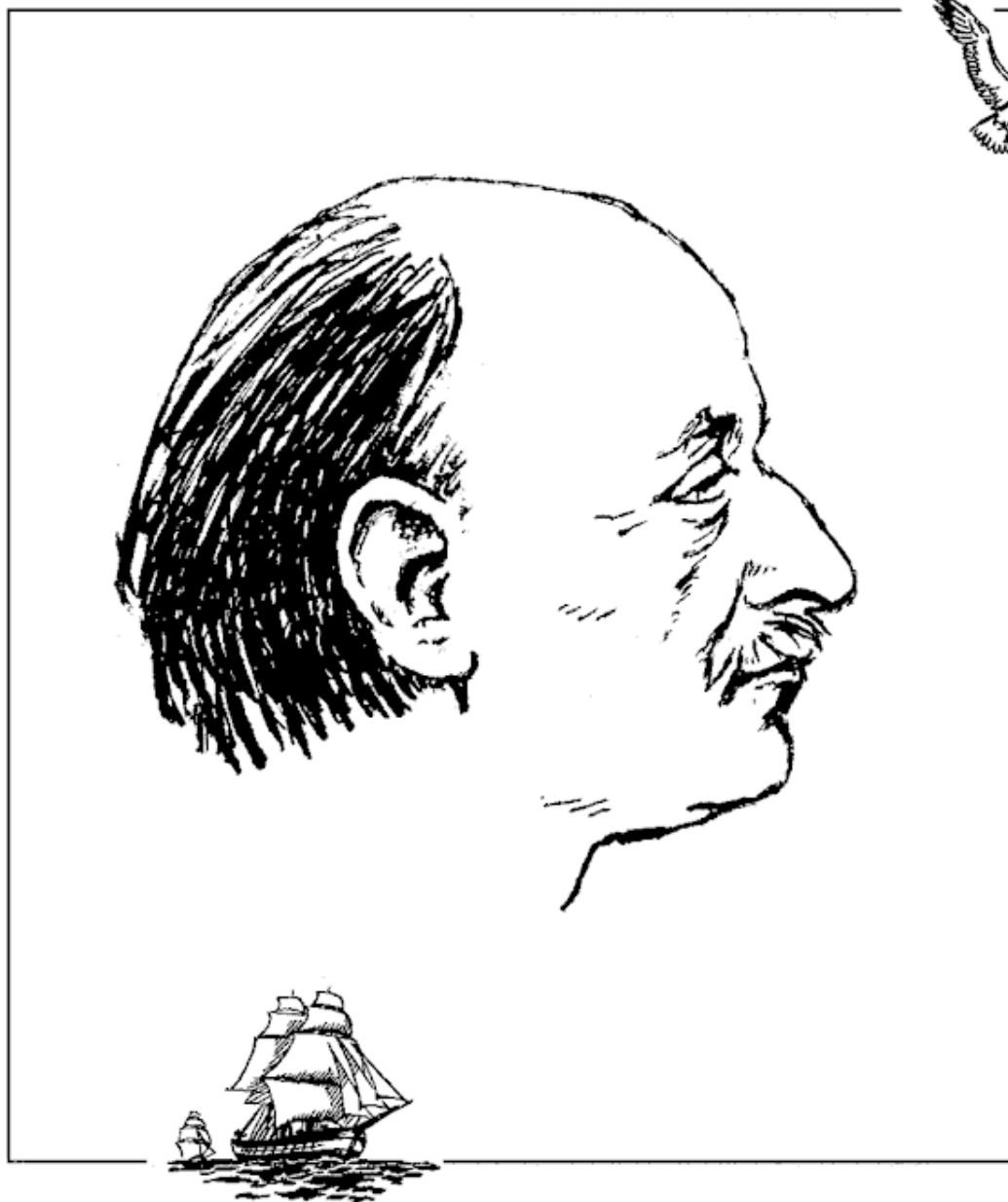
В книгу известного русского писателя вошли рассказы из циклов: «Рассказы о животных», «Что бывало» и «Морские истории». Для среднего школьного возраста.

© Житков Б. С.

© Издательство «Детская литература»

Содержание

На все руки мастер	6
Рассказы о животных	13
Про волка	14
Про слона	26
Про обезьянку	33
Мангуста	42
Конец ознакомительного фрагмента.	45



Борис Житков

Борис Житков
Что бывало (сборник)

© Сивоконь С., вступительная статья, 2003

© Черноглазов В., иллюстрации, 2003

© Оформление серии, составление. Издательство «Детская литература», 2003

На все руки мастер

В 1924 году при Ленинградском отделении Госиздата появился сектор детской литературы. Один известный поэт, захватив с собой тетрадку стихов для детей, решил заглянуть во вновь созданную редакцию. Редактор, мрачноватый человек с резкими чертами лица, быстро прочитал все стихи и резюмировал кратко, но решительно: не годятся.

– Да кто вы такой?! – возмутился поэт, не привыкший к подобному приему.

Суровый редактор сразу преобразился. Щелкнув по-военному каблуками, он четко отпортовал:

– Штурман дальнего плавания Житков.

И, не дав поэту опомниться, принялся объяснять ему ошибки, допущенные при описании парусного судна...

Житков был тогда и редактором, и писателем-новичком: его первый рассказ «Шторм» появился за год до того в детском журнале «Воробей». Но рассказ этот был зрелый, совсем не похожий на пробу пера. И когда редактор «Воробья» С. Я. Маршак прочел его, он вместе со своими сотрудниками вышел поздравить талантливого автора, который в то время скромно ожидал за дверью.

Житков, безусловно, был обрадован таким более чем теплым приемом, но старался не показывать этого.

– Ишь ты! – проворчал он. – На всех парусах... А я, признаться, приготовился к долгому дрейфу...

Вот так же, «на всех парусах», бывалый моряк Борис Житков на сорок втором году своей жизни вошел в литературу для детей и вообще в литературу. Впрочем, моряк ли? С тем же основанием он мог представиться химиком, ихтиологом, дипломированным фотографом, слесарем, корабельным мастером, яхтсменом, водолазом, пилотом, музыкантом, преподавателем математики, пожарным или дрессировщиком, потому что это были профессии, которые он знал в совершенстве.

Об умелости рук его рассказывают все, кто его знал.

Подарили ему друзья на день рождения ружье, а он тут же разобрал его и объяснил устройство.

Принесла ему сотрудница фабрики «Диафильм» аллоскоп – показать, как будут выглядеть его произведения на экране, – а он этот аппарат развинтил и передал директору фабрики записку с чертежом, как можно улучшить конструкцию аллоскопа.

Одного из своих знакомых он учил пеленать ребенка.

С какой-то приезжей учительницей деловито рассуждал о способах квашения капусты.

Мать Коли Корнейчукова (будущего Корнея Чуковского) учил выкраивать блузки по какому-то новому, им самим изобретенному способу... А самого Колю учил плаванию и гребле, гальванопластике и закалке воли, французскому языку и вязке морских узлов, распознаванию насекомых и птиц и ловле тарантулов...

С такими универсальными познаниями, с такими поистине золотыми руками он просто создан был, чтобы писать для детей. Ведь в идеале детский писатель должен знать и уметь все.

– Какой же это детский писатель, если он гвоздя вбить в стену не умеет! – презрительно говорил Житков, и на фоне его собственных, почти чародейских умений это звучало весомо.

«Я знал более талантливых писателей, чем Борис Житков, – свидетельствует редактор и критик И. И. Халтурин, – но не встречал более талантливого человека».

Что же за среда выдвинула этого энциклопедиста и умельца? Отец его, Степан Васильевич Житков, происходил из семьи потомственных моряков, воспитавшей трех контр-адмиралов. Он сам преподавал математику, создавал учебники для учеников и учителей, разрабаты-

вал методику преподавания арифметики. По его инициативе возникло Новгородское физико-математическое общество.

Человеком он был общительным, охотно играл с детьми, делал им игрушки, читал интересные книги. Но когда речь шла о выполнении долга, он бывал непреклонен и не прощал ни малейшей небрежности ни детям, ни взрослым. Эта твердость характера, стремление (и умение!) сделать все в лучшем виде передались и его единственному сыну Борису.

Под стать Степану Васильевичу была и жена его, Татьяна Павловна.

В одесской гимназии одноклассником Бориса оказался Коля Корнейчуков. Он не раз бывал у Житковых и сохранил об этой семье самые лучшие воспоминания. «...В сущности, то была очень типичная русская интеллигентская трудовая семья того времени... щепетильно честная, чуждая какой бы то ни было фальши, строгая ко всякой неправде. В ней не было ни тени того, что тогда называлось мещанством... Живо помню, с каким восхищением я, тринадцатилетний мальчишка, впитывал в себя ее атмосферу».

Отношения детей и родителей в этой семье были простыми и дружескими. Все строилось на доверии и уважении друг к другу. И дети это доверие оправдывали: Борис потом признавался, что не солгал родителям ни разу ни в чем.

Борис всегда увлекался чем-то. Это мешало ему успешно учиться в гимназии, где он имел и двойки, и тройки. Куда успешней проходила его «учеба» в мастерских Русского общества пароходства и торговли, где рабочие учили его владеть инструментом, допускали и к станкам. Будущий умелец Житков родился именно здесь. А одесский порт, море, которое было совсем рядом с домом, воспитали в нем моряка.

В дружной семье Житковых всегда любили животных. В Новгороде у каждого из детей (у отца – тоже!) была собака или щенок. А еще были зайцы, поросята, корова Чернушка... Борис и три его сестры старались позаботиться обо всех четвероногих. А в Одессе у Бориса в комнате жили кошка, собака и... ручной волк: Борис сам его щенком взял и выдрессировал.

Надо ли после этого удивляться тому изумительному мастерству, с каким написаны рассказы Житкова о животных: «Про слона», «Про обезьянку», «Про волка», «Мангуста», «Беспризорная кошка»? Рассказы, о которых критик Вера Смирнова сказала, что после Толстого и Чехова им нет равных в русской литературе.

Как же пришел Житков в детскую литературу?

Казалось, это вышло случайно: в 1923 году, в голодную и тяжкую пору, он оказался в Петрограде без работы и без денег – даже за трамвайный билет заплатить было нечем. И вот в крайне мрачном настроении, что было на него не похоже, зашел он к другу своего одесского детства Корнею Чуковскому. Пока тот был занят какими-то неотложными делами (ему самому в ту пору приходилось несладко), Житков стал рассказывать детям Корнея Ивановича разные любопытные случаи из морской жизни.

Дети слушали гостя с восторгом, и это, конечно, не укрылось от внимания Чуковского. Тогда-то он и высказал идею, которая оказалась счастливой не только для самого Житкова, но и для всей нашей детской литературы:

– Слушай, Борис, а почему бы тебе не стать литератором? Попробуй опиши приключения, о которых ты сейчас говорил, – и, право, неплохая книжка получится!

Гость отозвался на это предложение вяло – видимо, не очень-то верил в свои литературные силы. Тогда Корней Иванович решил упростить задачу:

– Ты напиши, что напишется, а я прочту и поправлю.

Через несколько дней Житков принес Чуковскому сложенную вдвое тетрадку (поля он оставил для возможных поправок), где была записана одна из рассказанных им историй. Корней Иванович открыл ее и, по его словам, «с удивлением убедился, что редакторскому карандашу здесь решительно нечего делать, что тот, кого я считал дилетантом, есть опытный лите-

ратор, законченный мастер с изощренной манерой письма, с безошибочным чувством стиля, с огромными языковыми ресурсами».

Столь же высокую оценку, как мы уже знаем, получил этот первый рассказ Житкова в редакции «Воробья».

Случайно мастерами не делаются. И тот же Чуковский, подводя итог своему впечатлению от первого рассказа Житкова, пишет: «Не было никакого сомнения, что он, этот «начинающий» автор, не напечатавший еще ни одной строки, прошел долгую и очень серьезную литературную школу».

Чуковский угадал: классами этой школы были и подлинно интеллигентная семья Житкова, и его сотрудничество в домашнем литературном журнале, где он считался самым талантливым автором (а было ему тогда всего 10 лет!), и общение с людьми самых разных профессий и социальных слоев, и многочисленные письма, которые он начал писать с 14 лет. Одно из этих писем он написал самому Льву Толстому, прося у него совета, «как должен смотреть христианин на искусство, и на музыку в частности». Письмо это сохранилось в архиве Толстого, но осталось без ответа. Лев Николаевич не очень-то доверял вундеркиндам. А может быть, он посчитал, что письмо Житкова инспирировано взрослыми...

Эта литературная школа продолжалась и дальше, когда Житков был уже известным писателем, только теперь она стала высшей школой, университетом.

Вначале он учился записывать на бумаге то, что мастерски рассказывал устно, – так возникли его морские рассказы и рассказы о животных.

Потом он учился писать для детей о технике.

Житков был уверен: «Если уж говорить о технике, то надо, чтобы от нее жизнь зависела. Хотя бы от маленькой технической частности, но все-таки жизнь». Это и придает его книгам о технике, да и художественным вещам, подлинный драматизм. В том же рассказе «Над водой», с коего началась литературная карьера Житкова, катастрофа с самолетом, предотвращенная ценой жизни одного из героев, возникает от засорения карбюратора плохо очищенным бензином.

Проза Житкова для детей насыщена научно-техническими сведениями: он справедливо считал, что дети ждут от писателей не пустой развлекательности, а прежде всего дела, практической информации обо всем на свете. И как ни замечательны, скажем, его «Морские истории», как ни драматичны они, это и своеобразная энциклопедия морского дела, где отражен опыт многих поколений моряков. А «Рассказы о животных» интересны не только правдой описания «братьев наших меньших», но и полнотой информации о них.

С другой стороны, даже повествуя о чисто технических проблемах – литье чугуна, работе электромотора или устройстве мельницы, – Житков умудряется почти начисто обходиться без специальной терминологии: ему хватает для этого и общего словарного запаса, который у него достаточно богат.

«Ветер дует в крылья, прямо им в лоб, и чем сильнее нажимает ветер, тем скорей машут крылья. Ну а вдруг повернул ветер, сбоку стал дуть? Выходит, что и стала фабрика.

Нет! На то она и на одной ноге, на то у ней и хвост сзади. Вышел мельник и взялся за «вирло» – за хвост. Это толстенное бревно, иной раз из четырех-пяти бревен связано. Бревно идет из-под мельницы и наглухо с ней скреплено. На конце у него колесо. Простое тележное колесо – чтобы не бороздил хвост по земле, а катался бы легко и спокойно.

Вот за это вирло и поворачивает мельник свой деревянный завод лицом к ветру. А завод стоит на одной ноге. Это толстая свая – она и есть та ось, на которой вертится вся мельница: и с жерновами, и с крыльями, всем своим поставом поворачивается».

Это из очерка «Плотник». В него еще взглянуть надо, чтобы увидеть тут технический текст, – так все живо, ярко, сочно написано. А ведь это в самом деле техническое описание работы мельницы...

Любопытно, что, готовя такие тексты, Житков не рассчитывал на рисунки, какими сопровождалось большинство его книг. «Рисунок – рисунком, – полагал он, – а текст надо составлять так, как будто рисунков никаких не будет. А уж когда закончил, тогда наваливайся на иллюстрацию, все из графики выжимай, что только можно от нее требовать. Как будто текста нет и не будет. При таком двойном нажиме получится толк».

Ярчайшим образцом творческой изобретательности Житкова является очерк о том, как делаются книги, – «Про эту книгу». Писатель принял до гениальности простое решение – рассказать об этом на примере той самой книги, которую он пишет. И так прямо и начинается: «Вот я написал «Про эту книгу», а книги-то пока никакой нет. Книга еще будет. Это я надеюсь, что пока я буду писать, как эту книгу сделать, – гляди, уж целую книгу напишу... Эту вот страницу попрошу, чтоб напечатали как есть – со всеми кляксами, чтоб вы видели, с чего начинается. А там дальше пойдет по-печатному».

Но и «по-печатному» идет не без хитростей: опять же предельно наглядно, без отрыва от печатной страницы, Житков демонстрирует разные огрехи и упущения, какие случаются при подготовке текста к печати, при наборе его и при самом печатании, попутно объясняя редакторские и типографские термины. И опять ни на шаг не отходя ни от технической стороны дела, ни от своего стиля.

Житков умел донести до детей и самые сложные, порой трагедийные темы, казалось бы начисто закрытые для детской литературы, и не упрощать при этом ни жизненной правды, ни сложности человеческих отношений.

У Житкова нет «злодеев по убеждению», нет и ангельски чистых героев, какие встречаются во множестве детских книг. У него люди, по виду обыкновенные, попадают в сложные, драматичные, порою и трагедийные ситуации – тут-то и выясняется с полной наглядностью, кто есть кто. Героями подлинными оказываются при этом люди честные, искренне любящие свое дело, те, кто в минуты опасности умеет думать не о себе. Подвиг у Житкова есть логическое продолжение служебного и человеческого долга в особой, чрезвычайной ситуации.

Ставя своих героев в трудные ситуации, требующие нравственного выбора, ответственного отношения к жизни, к людям и к себе самому, Житков помогает взрослеть своим юным читателям, воспитывает их, не произнося ни слова нравоучения, но так освещая факты и поведение героев, что авторская позиция становится очевидной.

«Главная моя задача тут – правда, – писал Житков, работая над одним из своих первых произведений, – самая подлинная чтоб правда была».

Этому благородному стремлению он не изменял никогда.

Житков постепенно опускался по возрастным ступенькам, пока не пришел в конце жизни к книгам для маленьких читателей. Ведь книги для малышей – самые специфичные, самые детские из детских книг.

Так появился цикл коротких рассказов «Что бывало» и, наверное, самая оригинальная из книг Житкова – «Что я видел».

В конце жизни он мечтал о создании журнала-картинки для детей начиная с трех лет, то есть даже более юных, чем возраст читателей книги «Что я видел».

Что бы написал дальше этот неумный экспериментатор, этот «вечный Колумб», как называл его Виталий Бианки, подари ему судьба еще хоть несколько лет жизни?

О книге «Что я видел» – самом позднем и едва ли не самом оригинальном творении Житкова – стоит сказать особо.

Такой книги не создал никто до Житкова. Это энциклопедия для детей четырех-пяти лет, книга ответов на их бесчисленные «почему?» и в то же время повесть, а может, и роман для детей, объясняющий им основы жизни.

Нужна была огромная смелость, чтобы рискнуть написать эту книгу от лица «почемучки» – ровесника «читателей» этой книги. Читателей в кавычках, потому что сами они в это время

читать еще не умеют и должны осваивать эту огромную для их возраста книгу (13 печатных листов!) вместе с папами и мамами. По расчету писателя, книги этой должно было хватить ребенку на целый год, и он призывал родителей ни в коем случае не торопиться с ее чтением.

Главный герой книги – Алеша-почемучка – был реальным мальчишкой: он жил в одной квартире с А. С. Житковой – старшей сестрой писателя, так что Житков довольно часто встречался и беседовал с ним. Общение с замечательным писателем, книги которого Алеша любил, не прошло для него даром: под влиянием «Морских рассказов» Житкова Алеша окончил Ленинградский гидрометеорологический институт, побывал во многих странах, написал книгу о морских течениях.

Для создания своей уникальной книги Житкову потребовались все его знания, все литературное мастерство. И пусть иные из описываемых им понятий сегодня устарели (жизнь и техника шагают вперед), да и дети нынче куда эрудированнее, чем в 1930-е годы, но все же и сегодня книга Житкова в общем сохраняет свое познавательное и художественное значение.

Житков не боялся влезать в детали и тонкости научных теорий, в споры между учеными. «Я знаю по опыту, – писал Житков, – с каким напряжением слушают ребята школьного возраста спор двух научных теорий, с каким жаром передают товарищам, до чего дошла тонкость исследования. Именно перипетии научной мысли, провалы и удачи гениальных исследователей – вот что должно драматизировать «производственную» книгу».

Он мечтал о том, чтобы у ребят закружилась голова от перспектив, возникающих за тем или иным открытием, вплоть до теории относительности. Он ни на секунду не сомневался, что и эту сложнейшую теорию можно объяснить детям доступно, увлекательно и неискаженно.

Еще подростком Борис Житков поражал окружающих не только запасом знаний, но и недетской зрелостью суждений. Он явно перерос многие тогдашние учебники, и немудрено, что в гимназии он откровенно скучал. Двойки и тройки получал не от отсутствия знаний, а от несоответствия их гимназической науке. У него были знания живые, реальные, практические – гимназия предлагала мертвые, застывшие, заскорузлые. И стоит ли удивляться, что именно Борис Житков, с детства понимавший цену подлинным знаниям и подлинной учебе, высказал знаменитые слова, сохраняющие свою актуальность и в наше время: «Невозможно, чтоб было трудно учиться: надо, чтоб учиться было радостно, трепетно и победно».

Сам Житков полагал, что некоторые из его книг – «форменные учебники». Хоть он и не привел при этом ни одного примера, но угадать их нетрудно – в то время Житков работал в основном над книгами о технике или близкими к ним: «Кино в коробке», «Паровоз», «Плотник», «Про эту книгу», «Свет без огня», «Телеграмма»... Не упрощая дело с технической стороны, книги эти написаны живо, увлекательно, вдохновенно, в полную мощь богатого и свободного житковского языка.

Активно Житков сотрудничал в детских журналах. Его рассказы, очерки, статьи, заметки, интервью, произведения других жанров печатались в «Пионере», «Чиже» и «Еже», «Юном натуралисте», «Сверчке», юношеском журнале «Знание – сила»... Причем не только печатались: в разное время и в разной мере Житков был причастен к руководству почти всеми этими изданиями.

Показателен опыт его работы в журнале «Юный натуралист». Бориса Степановича пригласили туда в тот момент, когда редактор этого журнала – Е. Е. Гвоздиков внезапно заболела. И Житков, вызвавшись сделать три номера этого журнала, последние в 1935 году, фактически принял на себя «главное командование», хотя поставил условием не числиться сотрудником журнала и не получать за свою работу вознаграждения: «Потому что буду делать только то, что смогу».

Как делался журнал раньше, ему не нравилось. Скучно, серо и тускло – вот было общее его впечатление.

Сотрудники попытались оправдаться нищенской сметой журнала, но Житкова эти оправдания рассердили.

– Средств мало! – передразнил он. – Самое могучее из всех средств – любовь. Кто любит, тот делает.

И вскоре подтвердил это делом.

Редактором Житков был суровым и требовательным. Мог задержать сдачу номера из-за одной неудачной строки или невыразительной подписи под фотографией. Соображение, что номер «в общем и целом хорош», его не убеждало.

– Если стол «в общем и целом хорош», – сердито возражал он, – но одна ножка короче, это дело поправимое. Ножку стола фанерой подбить можно или просто картонку подложить, и стол будет стоять, хоть мясо на нем руби, хоть «Медного всадника» пиши. А журнал когда вышел – ни одной строчки уже невозможно исправить. Или подпись под картинкой. Да ведь на картинке только то и увидят, на что вы пальцем укажете. Вот, полюбуйтесь – идиллия: зимний лес, женщина кормит белку. А на самом-то деле ведь это трагедия: зима – значит, холод, значит, голод. Голод сильнее страха, и дикая белка ест корм с руки...

Рассуждая об этом, Житков тут же, по ходу дела, вместо серой, безликой подписи придумывает такую, как надо: «Эта белка не ручная, а дикая. Она не боится человека, потому что в лесу настал голод, а человек принес пищу. Голод пересилил страх».

Эта подпись и пошла в номер.

Чтобы юный читатель журнала мог получить научные факты из первых рук, Житков стремился привлечь к сотрудничеству известных ученых. Но писали они чаще всего скучно и непонятно. И Житков предложил:

– Пригласим их к себе, позовем ребят и организуем беседу. А в зале будет сидеть стенографистка. Потом мы возьмем стенограмму и подготовим материал в номер.

– Куда пригласим? – поразились сотрудники «Натуралиста». – Мы же под лестницей сидим, да и холод у нас собачий: отопление не работает...

– Да не под лестницу мы их пригласим, – спокойно возразил Житков, – а в редакцию единственного детского журнала о природе. Журнала, который читают не менее ста тысяч человек. От такой аудитории ни один уважающий себя ученый не откажется.

Да, ученые не отказывались, хотя поначалу бывали несколько озадачены: ведь выступать им приходилось не в зале, а в тесном помещении, за фанерной перегородкой, перед мальчишками с окрестных улиц...

Житкова, однако, это даже радовало.

– Теперь лектор сам почувствует, как для нас надо подавать его науку. Сфальшивит, собьется с тона – мальчишки разбегутся.

А чтобы он не сфальшивил, Житков ему помогал: под видом этакого простачка, сидящего среди мальчишеской публики, задавал наивные, а по существу очень любопытные вопросы, на которые нельзя было ответить казенно. Ученый гость возражал «простачку», уточнял и разъяснял непонятное, иной раз даже делал внушение своему оппоненту, но рассказ его при этом получался таким, как надо, – интересным и вполне доступным.

Непримиримо относился Житков к малейшим неточностям и ошибкам, которых до него немало просачивалось на страницы журнала.

– Писать небрежно, неточно – значит лгать, – говорил он. – Нет хуже лжи, чем та, что напечатана в детской книге, в детском журнале. Нет греха тяжелей, чем обмануть доверие читателя. Печатному слову он верит больше, чем матери, чем школе.

Когда в одном из подготовленных им номеров проскочила серьезная ошибка, Житков запретил давать опровержение.

– Это все равно что плюнуть кому-нибудь в тарелку, а потом извиниться. Никаких опровержений!

Столь же оригинально работал Житков над оформлением журнала. Просмотрев серию весьма заурядных снимков о природе, Житков возмущенно обратился к фотографу:

– И это у вас природа! Нет, вы покажите ее в движении, в жизни, в борьбе. Возьмите муравьев. Дайте столкновение маленького муравья с огромным жуком на ветке старого дерева. Дайте страничное фото борьбы муравья со страшной гусеницей: отважный муравей вонзил свои острые челюсти в ее рыхлое тело, гусеница извивается, готова перегнуться пополам, сбросить маленького жестокого врага. Покажите, сколько тут драматизма, сколько страсти, сколько борьбы.

Снимите ландыш, пробивающийся сквозь весеннюю рыхлую землю; он поднял головкой своей прошлогодние листья и глядит. Лягте сами на траву и покажите с близкого плана эти джунгли травы. И птиц снимите, летящих птиц, а не этих конфетных птичек на вашем фото, что так мирно позируют вам. Какой прок в этой вашей картинке? Вы бы лучше показали птичку-мать, ее гнездо, детей, ее беспокойство, ее ужас при виде хищника.

Фотограф глядел на редактора с изумлением. Он не знал, что Житков еще в юности получал призы на всероссийских конкурсах за свои оригинальные снимки.

Всего три месяца проработал Житков в «Юном натуралисте», сделал три номера, как и обещал. Но и этого срока хватило, чтобы журнал радикально изменился и уже не мог вернуться на прежний, безликий путь. Он стал ближе к жизни и к науке, приобрел много новых авторов, пишущих, рисующих и снимающих, заговорил с детьми новым, живым и выразительным языком. Изменился и внешне: Житков пробил для него цветные вкладки...

Нечто подобное происходило с его приходом в «Пионере», «Чиже» и других журналах, в судьбе которых Житков принимал горячее участие.

Житкова постоянно занимал вопрос о том, как не утратить врожденную гениальность ребенка, как развить его способности и дарования. Ведь восхищаются же взрослые, профессиональные художники детскими рисунками: «Гениально! Потрясающе! Скажите, откуда они, шельмецы, это знают?» – «А шельмецы знают одно, – замечает Житков, – что надо изобразить главное, а остальное – к главному пририсовать, и то лишь для пользы главного.

В быке для них главное рога. С рог и начинают. И непременно бодучая пара.

Воры – это только ночью бывает, их плохо видно, они тихи. И вот без голов мутные контуры плывут, подняты над полом. А неглавного ничего нет.

Орнамента на ковре не видно, коли на нем убитый человек. Крови – это да! Этого ведер пять тут же, и очень красной. Она-то и горит огнем».

Но куда же потом все девается? Куда исчезает гениальность? Ведь была же она, была! И Житков приходит к выводу, что огромную роль в развитии ребенка, наряду с другими факторами, играют детские книги.

Он вспоминает свое детство: «Как жаль, что я не выжег этого в памяти вот тогда, когда это было во мне. А было же! Запомнить покрепче, пожить этим, чтоб не ушло так навсегда, так бесследно... Почему взрослые не задержали меня в этом творческом схематическом мире? Почему не было таких книг, чтоб растянули надолго моей «гениальности», не оставили тавра: я глянул бы на него и на миг вспомнил, на тот миг, когда я выпростал голову поверх моего груза.

Вот этого самого я, взрослый, и хочу спросить с детской книги: тавра».

Буквально в каждой своей книге, при всем их разнообразии, Житков и стремился решить эту задачу: пополняя опыт ребенка, не гасить его жажду познания, его смелость – человеческую и творческую.

Чтобы на всю жизнь остаться человеком, надо в душе на всю жизнь остаться ребенком – этот урок замечательного писателя Бориса Житкова важен и актуален и сегодня, в XXI веке.

Рассказы о животных



Про волка



Дикий зверь

У меня был приятель-охотник. И вот раз собрался он на охоту и спрашивает меня:

– Чего тебе привезти? Говори – привезу.

Я подумал: «Ишь хвастает! Дай загну похитрей чего-нибудь» – и сказал:

– Привези мне живого волка. Вот что.

Приятель задумался и сказал, глядя в пол:

– Ладно.

А я подумал: «То-то! Как я тебя срезал! Не хвастай».

Прошло два года. Я и забыл про этот наш разговор. И вот раз прихожу я домой, а мне в прихожей уж говорят:

– Тебе там волка принесли. Какой-то человек приходил, тебя спрашивал. «Он волка, – говорит, – просил, так вот передайте». А сам к двери.

Я, шапки не снимая, кричу:

– Где, где он? Где волк?

– У тебя в комнате заперт.

Я был молодой, и мне стыдно казалось спрашивать, как он там сидит: связанный или просто на веревке. Подумают, что трушу. А сам думаю: «Может быть, он ходит по комнате как хочет, – на свободе?»

А трусить я стыдился. Набрал я воздуха в грудь и дернул в свою комнату. Я думал: «Сразу-то он не бросится на меня, а потом... потом уж как-нибудь...» Но сердце сильно билось. Я быстрыми глазами оглянул комнату – никакого волка. Я уж обозлился – надули, значит, подшутили, – как вдруг услышал, что под стулом что-то ворочается. Я осторожно пригнулся, поглядел с опаской и увидел головастого щенка.

Я вот говорю – увидел щенка, но сразу же было видно, что это не собачий щенок. Я понял, что волчонок, и страшно обрадовался: приручу, и будет у меня ручной волк.

Не надул охотник, молодец: привез мне живого волка!

Я осторожно подошел, – волчонок стал на все четыре лапы и насторожился. Я его разглядел: какой он был урод! Он почти весь состоял из головы – как будто морда на четырех ножках, и морда эта вся состояла из пасти, а пасть – из зубов. Он на меня оскалится, и я увижу, что у него полон рот белых и острых, как гвозди, зубов. Тело было маленькое, с редкой бурой шерстью, как щетина, и сзади крысиный хвостик.

«Ведь волки серые... А потом, щенята всегда бывают хорошенькие, а это дрянь какая-то: одна голова да хвостик. Может быть, и не волчонок вовсе, а просто для смеха что-нибудь. Надул охотник, оттого и удрал сразу».

Я смотрел на щенка, а он пятился под кровать. Но в это время вошла моя мать, присела у кровати и позвала:

– Волченька! Волченька!

Смотрю, волчонок выполз, а мать подхватила его на руки и гладит – чудище этакое! Она его, оказывается, уже два раза поила с блюдца молоком, и он сразу ее залюбил. Пахло от него едким звериным запахом. Он чмокал и совался мордочкой маме под мышку.

Мать говорит:

– Если хочешь держать, так надо его мыть, а то вонь будет от него на весь дом.

И понесла его в кухню. Когда я вышел в столовую, все смеялись, что я таким героем ринулся в комнату, будто там страшный зверь, а там щенок.

В кухне мать мыла волчонка зеленым мылом, теплой водой, а он смирно стоял в корыте и лизал ей руки.

Как я учил волка «тубо»

Я решил, что сызмальства надо начать волчонка учить, а то, как вырастет большой зверь, с ним уж тогда ничего не поделаешь. Вот он еще маленький, а зубищи уж какие во рту. А вырастет – держись тогда. Первое, думал я, надо научить его «тубо». Это значит – «не тронь». Чтоб как крикну «тубо», так чтоб он даже изо рта выпускал, что схватил.

И вот я взял волчонка в свою комнату, принес плошку с молоком и хлебом, поставил на пол. Волчонок потянул носом, учуял молоко и заковылял на лапках к плошке. Только он сунул морду в молоко, я как крикну:

– Тубо!



А он хоть бы что: чавкает и урчит от радости.

Я опять:

– Тубо! – и дернул его назад.

И вот тут он сразу как рявкнет на меня, голову повернул, зубами щелкнул – как молнией ударил. И так по-лесному, по-звериному вышло у него, что меня на один миг жуть взяла. Я от взрослой собаки такого не слышал, – вот оно что значит волк-то...

Ну, думаю, если он с малых лет так, то что же потом-то? Не подойти тогда уж, прямо съест. Нет, думаю, надо его страхом взять, пусть он привыкнет бояться моей руки.

Я снова крикнул «тубо» и стукнул кулаком волчонка по голове. Он ударился челюстью о плоску и взвизгнул, совсем по-ребячи. Но он не мог оторваться от молока, облизнулся и снова в плоску.

Я крикнул не своим голосом:

– Тубо, дряннь этакая! – и опять ударил кулаком.

Волчонок отскочил от площадки и заковылял на тонких лапках вдоль стенки. Бежал и тряс от боли головой. С мордочки текло молоко, и он был обиженно.

Обежал по стенке всю комнату, и ноги сами понесли его к молоку.

Хоть мне было стыдно, что я ударил так сильно такого маленького, но я все же решил настоять на своем.

Как только волчонок начал есть, я снова крикнул «тубо». Он наспех огрызнулся и залакал скорее. Я стукнул его кулаком. Он завыл, бросился, и я не успел его схватить, как он уже отворил мордой дверь и стремглав побежал вон. Он побежал к матери, сунул ей в юбку мокрую морду и заскулил громким голосом на всю квартиру.

Все сбежались, стали гладить волка, а меня ругали, что я мучаю такого маленького.

Маме он всю юбку запачкал молоком и заслунявил.

Потом он целый день бегал за матерью, а меня так все заругали, что я пошел гулять.

Я на всех дома обиделся. Я думал: «Им хорошо говорить: «Волченька, миленький да бедненький», а вот когда вырастет зверище-волчище с громадными зубами, тогда все в доме начнут кричать: «Гляди, что волчище наделал! Твой волк, девай его куда хочешь». Тогда все на меня будут валить. «Завел, – скажут, – зверя в доме, теперь и расхлебывай». И я решил, что уеду из дому, найму себе маленькую квартирку и буду там жить со своей собакой, с кошкой и с волком.

Я так и сделал: нашел комнату с кухней, нанял и переехал с моими зверями на новую квартиру.

Надо мной смеялись:

– Скажите, Дуров какой у нас завелся! Со зверями будет жить.

А я думал: «Дуров не Дуров, а волк ручной у меня будет».

Собачка у меня была рыженькая, маленькая. Она была потайного и ехидного характера. Звали ее Плишка. Плишка была чуть побольше волчонка. Волчонок, как ее увидел, побежал к ней, хотел поиграть, повозиться. А Плишка оцетинилась, оскалилась, как огрызнется:

«Рраф!»

Волчонок испугался, обиделся и побежал искать мою мать, но я уже жил один. Он скулил, бегал по комнате, искал в кухне и прибежал наконец ко мне. Я его приласкал, посадил рядом с собой на кровать и позвал Плишку. «Дай, – думаю, – я вас примирю». Я заставил Плишку лечь рядом с волчком. Она, дряннь, все время подымала губу, показывала зубы и шепотом ворчала – ей, видно, противно было лежать рядом с волчком. А он пробовал ее нюхать, даже лизнул. Плишка дрожала от злости, но куснуть волчонка при мне не смела.

«Ну, – думаю, – как же я их одних-то дома оставляю, как пойду на работу? Заест волчонка Плишка, закусает». И я решил взять утром Плишку с собой. Она была очень муштрованная, и утром на службе я повесил на вешалку пальто, а Плишке сказал, чтоб стерегла и не сходила с места. Когда мы с Плишкой вернулись домой, то волчонок так обрадовался Плишке, что бросился к ней со всех своих кривых ножек и с разбегу сбил собаку и навалился на нее. Плишка пружиной вскочила, и я крикнуть не успел – она цап волчонка за ухо. Но тут вышло не то: волчонок как рывкнет и так лягнул зубами – быстро, как молния, – что Плишка кубарем в угол, прижалась и, рот раскрыв, рычала испуганным хрипом.

Кошка Манефа важно вошла в двери посмотреть, что за скандал. Волчонок тряс больным ухом и бегал по комнате, на все натыкался крепким лбом. Манефа на всякий случай вскочила на табурет. Я боялся, что ей придет в голову сверху царапнуть волчонка. Нет, Манефа уселась поудобней и только следила глазами, как метался волчонок.

Я принес с собой овсянки и костей для волка и отдал дворничихе Аннушке сварить.

Когда она принесла горячий котелок, то сейчас же заметила волчонка:

– Что это собачка какая безобразная? – И присела на корточки. – Это какая же порода будет?

Я не хотел, чтобы в доме знали, что есть волк, и думал, что бы такое соврать, как тут Аннушка пригляделась и говорит:

– Уж не волчонок ли? Да верно ведь, волчонок. Ах, бедный ты мой!

Смотрю, уж гладит его. Я сказал:

– Аннушка, пожалуйста, никому не надо говорить. Я хочу вырастить, пусть ручной будет.

– Да мне зачем же рассказывать, – говорит Аннушка, – а только, знаете, говорится: сколь волка ни корми, а он все в лес глядит.

И я договорился с Аннушкой, что она будет у меня прибирать и варить, а волку варить варево из овсянки с костями каждый день.

Я дал всем зверям есть, каждому в своем углу, каждому из своей кормушки.

Волчонок чавкал своей овсянкой, а Плишка свое быстро сожрала, оглянулась на меня. Я в зеркало следил за ней, а она этого не понимала и думала, что я сзади ничего не увижу. И вот я вижу в зеркале, как она по стенке тихонько крадется к волку. Еще раз оглянулась на меня и втихомолку подворачивает на волка. Оскалилась всем ртом, глазищи злые, и надвигается шаг за шагом.

«Ну, – думаю, – залезь ты ему в кормушку, вытяну я тебя ремнем, будешь знать. Все вижу, голубушка».

Но вышло иначе. Только Плишка сунула морду к кормушке, волк – врык! – и лязгнул зубами, да не мимо, а прямо Плишку за морду. Она отскочила с визгом, и тут с ней сделался прямо-таки припадок: она носилась по комнате, по кухне, кидалась в прихожую и так отчаянно выла, будто на ней вся шерсть огнем горит. Я ее звал, но она делала вид, что не слышит, и только поддавала визгу еще пронзительней. А волчонок чавкал в своей плошке. Я ему подлил туда молока, и он спешил, лакал, только дух успевал переводить. Я выгнал Плишку на двор и во дворе слышал, как она пробовала скандалить.

Все соседи думали, что я нечаянно ошпарил собаку кипятком.

А волка я каждый день учил «тубо». И теперь дело двинулось вперед: только я крикну «тубо», волчонок стремглав бежал прочь от кормушки.

Собаки скандалят

Я каждый вечер ходил со зверями на прогулку. Плишка была приучена бежать рядом с правой ногой, а Манефа сидела у меня на плече. Улицы были около моей квартиры пустынные и, правду сказать, места воровские – народу попадалось мало, и некому было пальцем показывать, что вот идет взрослый мужчина с кошкой на плече. И вот я решил теперь пойти гулять вчетвером – взять с собой волка. Я купил ему ошейник, цепочку и пошел вечером по улице: волчонок ковылял с левой стороны, но его приходилось подергивать за цепочку, чтоб он шел рядом. Думал, нас никто не заметит. Но вышло не так: нас заметили и подняли скандал. Только не люди, а собаки.

Первая попалась маленькая собачонка, Плишкина знакомая. Она разбежалась было к нам, но вдруг насторожилась, зафыркала и стала красться за волчком, нюхать след. Потом бросилась в свои ворота и оттуда таким залилась тревожным лаем, что во всех дворах отозвались собаки. Я никогда и не думал, что столько собак на нашей улице. Собаки стали выскакивать из ворот, встревоженные, ошетинились и со злым испугом издали надвигались на волка. А он жался к моей ноге и вертел своей лобастой мордой. Я уж думал: не взять ли мне волчонка на руки да не повернуть ли домой, пока собаки не бросились на него? Из ворот уж стали высовываться люди, глядеть, что случилось. Плишка снизу заглядывала мне в лицо: что же, дескать, делать? Какой, значит, переполох из-за этого чучела мордатого! Но я уж не боялся:

собаки ближе трех шагов не решались подойти к волчонку. Каждая провожала нас лаем до своего дома и пятилась задом в свои ворота.

Успокоился и волк. Он уже не вертел головой, а только не отставал и бежал, плотно держась у моей ноги.

– Что, – сказал я Плишке, – наша взяла?

Мы вышли на людные улицы, где собак не было, а когда возвращались, уже все ворота были на запоре и собак на улице не было. Но Волчик очень радовался, когда пришел домой. Он стал возиться, как щенок, повалил Плишку, валял ее по полу, а она терпела и не смела при мне огрызаться.

Вырастает

А на другой день, когда я возвращался, я увидел на дворе Аннушку: она в лоханке стирала белье, а около нее, свернувшись клубочком, грелся на солнце волчонок.

– Я его на солнышко взяла, – говорит Аннушка. – Уж что, в самом деле, и свету животное не видит.

Я позвал:

– Волчик! Волчик!

Он нехотя встал, расставил ноги, как поломанная кровать, и стал потягиваться, совсем как собака. Потом вильнул своим веревочным хвостиком и побежал ко мне.

Я так обрадовался, что он идет на зов, что сейчас же без всякого «тубо» скормил ему сдобную булку. Я хотел уже взять его в комнату, тут Аннушка говорит:

– Как раз кончила, а вода осталась, давайте-ка я и его. А то дух от него уж очень волчий.

Подхватила его под мышку и поставила в лохань. Она его мыла, как хотела, и он стоял смешной, весь в белой пене. Он даже ни разу не зарычал на дворничиху, когда она его обдавала теплой водой начисто. С тех пор его мыли каждую неделю. Он был чистый, шерсть стала блестеть, и я не заметил, как уж хвост у волчонка из голой веревки стал пушистым, сам он стал сереть и обратился в хорошенькую веселую собачку.

Бой с Манефой

И вот раз кормил я моих зверей, и Манефа, сидя на табурете, доедала рыбешку. Волчонок кончил свое и полез к кошке. Он стал лапками на табурет и потянулся мордой к рыбе. Я не успел крикнуть «тубо», как Манефа зашипела, хвост веником и – раз! раз! – надавала волку по морде. Он завизжал, присел и вдруг бросился настоящим зверем на кошку. Все это было в одну секунду: волк опрокинул табурет, но кошка подпрыгнула на всех четырех лапах и успела рвануть его когтями по носу, – я боялся, чтоб не выпарапала глаза. Я крикнул «тубо» и бросился к волку. Но он уж сам бежал ко мне, а кошка насакивала сзади и старалась процарапать сквозь шерсть. Я стал гладить и успокаивать волчонка. Глаза были целы, – оказался порядочный шрам на носу. Шла кровь, и волчонок зализывал языком больное место. Плишка во время боя скрылась. Я с трудом вызвал ее из-под кровати. Там была лужа.

Вечером волк лежал на подстилке. Манефа – хвост трубой – королевой разгуливала по комнате. Когда проходила мимо волка, он рычал, но она и головы не поворачивала, а спокойно терлась о мою ногу и мурлыкала на сытое брюхо.

«Особой породы»

В доме уж все считали, что у меня две собаки. И когда спрашивали про Волчика, я говорил, что это овчарка, мне подарили, – особой породы.

Но вот раз ночью я проснулся от странного звука. Мне спросонья показалось сначала, что пьяный ревет за окном. Но потом разобрал я, в чем дело. Волк. Волк завыл...

Я зажег свечку. Он сидел среди комнаты, подняв к потолку морду. Он не оглянулся на свет, а выводил ноту, и такую лесную звериную тоску выводил он голосом на весь дом, что делалось жутко.

Вот тебе и «овчарка особой породы». Этак он весь дом перебудит, и уж тут не скроешь, что волк. Пойдут охи, ахи: «Волк во дворе». Все хозяйки заскандалят и выгонят меня завтра же вон из дому с моими кошками и овчарками. Наверху генеральша живет, злая и вздорная. «Помилуйте, – скажет, – живешь, как в лесу, всю ночь волки воют. Благодарю покорно». Это я все знал наверное, и надо было сейчас же прекратить этот вой.

Я вскочил, присел к волку, стал гладить, но он глянул на меня и снова запрокинул голову.

Я дернул его за ошейник и повалил на пол. Он как будто опомнился, встал, встряхнулся, зазвонил пряжками. Я побежал в кухню и достал толстую кость из супа. Волк улегся на подстилке и стал грызть. Грыз он своими белыми зубами большие воловьи кости, как сухари. Только хрустело. Я потушил свечу, стал было засыпать, – как дернет мой волк ноту, крепче прежнего. Я быстро оделся и вытащил волка на двор. Я стал с ним играть, бегать по двору. И я заметил тут, ночью, что, не зная, я принял бы его за порядочного дворового пса. И вот никто не замечал: пес мой не лаял. Беда, если узнают, что он по ночам воет!

Теперь мне ночью не стало покоя. Я по часу, бывало, сидел и уговаривал волка, я его занимал, совал ему кости, чтоб как-нибудь он забыл про вой. Я за ним ухаживал, как за больным, у которого бывают припадки. Недели через две он бросил выть. Но за это время мы с ним сдружились. Когда я возвращался домой, он ставил мне на плечи лапы, и я чувствовал, какие они крепкие у него – как железные палки. Я с ним гулял днем, и все смотрели на большую собаку с особенной походкой. Когда он бежал, он так легко пружинил задними ногами; он умел смотреть назад, совсем свернув голову к хвосту, и бежать в то же время прямо вперед.

Узнали

Он был совсем ручной, и знакомые, когда приходили, гладили его и трепали по спине, как простую собаку.

И вот раз сию я в парке на скамейке. Меж коленями у меня уселся на земле волк и дышит жарким духом, свесив длинный язык через зубы.

Маленькие дети играли в песке, а няньки на скамейке лузгали семечки.

Ребята стали подходить ко мне.

– Какая хорошая собака! Пушистая и язык красный. Не кусается?

– Нет, – говорю. – Она смирная.

– Можно немножко погладить?

Я сказал волку «тубо». Он уж это хорошо знал, и дети, кто посмелее, стали осторожно гладить. Я гладил заодно с ними, чтоб волк знал, что и моя рука тут. Няньки подходили, спрашивали:

– Не укусит?

Вдруг одна нянька подошла, глянет да как заохает:

– Ой, матушки, волк!

Дети взвизгнули, прыгнули, как цыплята. Волк так перепугался, что волчком повернулся на месте, запрятал мне между колен свою морду и прижал уши.

Когда все немного успокоились, я сказал:

– Сами волка напугали. Видите, какой он смирный.

Но уж куда там! Няньки ребят за руку прочь тянут и оглядываться не велят. Только два мальчика, что без нянек были, подошли ко мне, стали на метр и говорят:

– Верно – волк?

– Верно, – говорю.

– Настоящий?

– Настоящий.

– А ну, – говорят, – забожись.

– Ей-богу, – говорю, – настоящий.

– Ага, – говорят, – то-то ты его себе к руке и привязал. Ну, дай еще погладить. Настоящего-то.

Это было действительно так: я цепь от волка привязывал ремнем к левой руке – в случае дернется или бросится, уж от меня он не оторвется. Пусть я даже упаду с ног – все равно не уйдет.

Прозевал

Аннушка так приучила волка, что он за ворота один ни за что. Подойдет к калитке, глядит на улицу, носом воздух тянет, нюхает, рычит на проходящих собак, но за порог лапой не переступает. Может быть, сам он боялся один выскакивать.

Вот я раз вернулся домой. Аннушка сидела во дворе, шила на солнышке под окном, а волк у ней в ногах клубком лежал – серая большая животиная. Я окликнул; волк вскочил ко мне. И тут я вспомнил, что не купил папирос. А разносчик стоял в десяти шагах от ворот с лотком. Я выскочил из ворот, волк – за мной. Беру у разносчика сдачи и слышу – сзади собачий лай, рвяканье, склока. Оглянулся – ай, беда! Сидит мой волк, прижался в угол ворот, а две большие собаки набросились, приперли его, наступают. Волк головой крутит, глазищи горят, и зубы лязгают быстро, как выстрелы: хляст! Хляст! Вправо, влево!

Собаки напирают, ищут местечка, где б ухватить, и лай такой стоит, что моего крика не слышно. Я бросился к волку. Собаки, видно, поняли, что вот человек бежит им на помощь, и одна бросилась на волка.

Мигнуть не успел, как волк рванул ее за загривок и швырнул на мостовую. Она покати-лась и с визгом пустилась прочь. Другая прыгнула за меня. Волк ринулся, сбил меня с ног, но я успел ухватить его за ошейник, и он проволок меня шага два по мостовой. Лоточник с лотком скорей в сторону. А волк рвется, я на спине барахтаюсь, ошейника не отпускаю.

Тут выбежала из ворот Аннушка. Она забежала спереди и уткнула волчью морду к себе в колени.

– Пускайте, – кричит, – я уж взяла!

Верно: Аннушка взяла волка за ошейник, и мы вдвоем увели его домой.

Когда я потом вышел за ворота, то увидел кровь. Кровавая дорожка шла через площадь, куда побежала собака. Я вспомнил, что на наш скандал собралось смотреть много народу, а из окон высунулись жильцы. И кто-то кричал: «Бешеная! Бешеная!»

Это кричала генеральша, что жила надо мной.

Беда

Я два дня не выпускал волка во двор, только по вечерам водил его на цепочке гулять. На вторую ночь он завыл, и завыл нестерпимо: громко, как труба, и так отчаянно, так тоскливо, будто ревет над покойником. Мне в потолок постучали.

Я выскочил с волком во двор. Я видел, как в окнах вспыхнул свет, как замелькала тень. Видно, барыня всполошилась.

Наутро я слышал, как во дворе она кричала на дворника:

– Безобразие! Где это позволяют держать бешеных собак в доме? Воет волком по ночам.

Всю ночь не спала. Сейчас же заявлю. Сейчас же!

Аннушка принесла овсянку волку вся заплаканная.

– Что случилось? – спрашиваю.

– Да уж чего хуже – скандалит барыня. В полицию, говорит, заявлю! Так дворника этого, мужа моего, значит, вон из дому: укрывает бешеных собак, ни за чем, говорит, не смотрит. А он мне как родной.

– Кто это? – говорю.

– Да Волчик-то! – И присела к нему, гладит. – Кушай, кушай, родименький. Сиротинка моя!

Когда я шел со службы домой, меня на улице остановил полицейский пристав:

– Простите, это вы волка держите?

Я смотрел на пристава и не знал, что сказать.

– Да ведь я давно знаю, – говорит пристав. Ухмыляется и ус покручивает. – Там, видите, жалоба поступила. Генеральша Чистякова. Но, знаете, вот что вам посоветую: подарите-ка мне вашего зверя, ей-богу. – И пристав просительно улыбнулся. – Ей-богу, подарите. У меня в имении овцы, а стерегут их овчарки. Вот этикие. – И показал почти на метр от земли. – Так вот от вашего волка хорошие детки будут – злые, первый сорт. И он с собаками сдружится, на воле жить будет. А? Право же. А в городе вам одни скандалы с ним будут. Это уж я ручаюсь, что скандалы будут. – И тут пристав нахмурился. – Вот уж одна жалоба есть: имейте в виду. Так как же? По рукам, что ли?

– Нет, – сказал я. – Мне жалко дарить. Я как-нибудь устрою.

– Ну, продайте! – крикнул пристав. – Продайте, черт возьми! Сколько хотите?

– Нет, и не продам, – сказал я и пошел скорее прочь.

– Так я украду! – крикнул пристав мне вслед. – Слышите: у-кра-ду!

Я махнул рукой и пошел еще скорей.

Дома я рассказал Аннушке, что говорил пристав.

– Берегите волка, – сказал я.

Аннушка ничего не ответила, только насупилась.

На дворе я столкнулся с генеральшей Чистяковой. Она вдруг загородила мне дорогу. Глядит мне зло в глаза, и нижняя губа трясется. И вдруг как стукнет зонтиком об пол:

– Скоро ли мы избавимся от опасности?

– От какой? – спрашиваю.

– От собаки от бешеной! – кричит генеральша.

– Вас, видно, мадам, покусала, только это не моя.

И я пошел в ворота.

Из плена

Прошло дней пять. Я был на службе. Мне сказали, что меня спрашивает какая-то женщина, и чтоб сейчас, немедленно. Я побежал. На лестнице стояла Аннушка.

– Ой, бегите, – говорит, – скорей бегите: волка нашего пристав в участок взял. Там в полиции сидит.



Я схватил шапку. По дороге Аннушка мне сказала, что пристав приказал дворнику отвести волка в полицию и что дворник не посмел ослушаться: отвел и привязал во дворе в полиции.

Когда я открыл калитку в полицейских воротах, то сразу увидел в конце двора гурьбу народа: городовые и пожарные густой кучей стояли, галдели, вскрикивали. Я быстро пошел через двор и, уж когда подходил, слышал, как кричали:

– Что, серый, попался?

Я протолкался через людей. Волк на цепочке был привязан к кольцу. Он сидел на задних лапах, поджал хвост и огрызался на городских. Волк первый заметил меня. Он дернулся, вскочил на задние лапы и натянул цепь. Все отпрянули назад. Я снял цепь с кольца и быстро намотал на руку.

Кругом заголосили:

– Куда ты его? Что он, твой?

– А если ты хозяин, так возьми! – крикнул я.

Все расступились. Вдруг кто-то заорал:

– Калитку на запор, скорей!

И один городской побежал бегом к воротам.

– Стой! Волка спущу! – закричал я на весь двор.

Городовой отскочил и стал.

А волк меня так тянул, что я едва вприпрыжку поспевал за ним. Мы добежали до калитки, я откинул дверь, волк прыгнул через порог и бросился вправо, домой. Сзади засвистели. Мы были уж за углом. Сейчас площадь, а через площадь и наш дом. Я слышал, что сзади топали ноги, свистели свистки. Но я не оглядывался и бежал. Вот сейчас площадь. Площадь пустая. А вон Аннушка стоит у ворот. Я бросил цепочку, и волк громадными прыжками стал устилать к дому. Аннушка присела на корточки, и я видел, как она поймала его за шею.

Я перевел дух и оглянулся: двое городских остановились. Один зло плюнул в землю и махнул рукой.

Совсем конец

Я решил переехать в другой район, где этот пристав не начальник и где уж он ничего не значит. Я стал подыскивать новую квартиру. Я корил дворника за подлость:

– Зачем же было уводить волка у меня? За что же гадость мне такую делать?

– Да вы, – говорит, – в мое положение войдите: вам волк – забава, а ведь если я его не приведу, когда велят, это выходит, что с места вон. Я ведь только метлой и могу орудовать. Выгонят – куда пойду? Вы меня, что ли, кормить будете? Разве к вам в волки наняться?

Я уж не знал, что говорить. Ладно, перееду.

Я видал пристава через улицу. Он сделал хитрое лицо и лукаво погрозил мне пальцем. А я ему тоже.

Я купил волку намордник. Он сначала срывал его лапами, но все-таки привык, и теперь, в ошейнике, с намордником, он был совсем как собака.

Все свободное время я ходил с волком – мы искали квартиру. Я уж совсем нашел, оставалось только переехать.

И вот я раз вернулся домой со службы. В воротах Аннушка в слезах:

– Опять! Опять!

– Что, увели? – И я дернулся, чтоб бежать в полицию.

Но Аннушка ухватила меня за рукав:

– Без дела пойдете. Увез, увез, окаянный, к себе! Сама видела, как на подводу поклали. Связали – и на сено. А коней не удержать.

Я все-таки побежал в участок. Пристава не было: он уехал к себе в имение.
Я узнал: все было, как сказала Аннушка.

1929



Про слона



Мы подходили на пароходе к Индии. Утром должны были прийти. Я сменился с вахты, устал и никак не мог заснуть: все думал, как там будет. Вот как если б мне в детстве целый ящик игрушек принесли и только завтра можно его раскупорить. Все думал: вот утром сразу открою глаза, и индусы, черные, заходят вокруг, забормочут непонятно, не то что на картинке. Бананы прямо на кусте, город новый – все зашевелится, заиграет. И слоны! Главное – слонов мне хотелось посмотреть. Все не верилось, что они там не так, как в зоологическом, а запросто ходят, возят: по улице вдруг такая громада прет!

Заснуть не мог, прямо ноги от нетерпения чесались. Ведь это, знаете, когда сушей едешь, совсем не то: видишь, как все постепенно меняется. А тут две недели океан – вода и вода, – и сразу новая страна. Как занавес в театре подняли.

Наутро затопали на палубе, загудели. Я бросился к иллюминатору, к окну, – готово: город белый на берегу стоит; порт, суда, около борта шлюпки; в них черные в белых чалмах – зубы блестят, кричат что-то; солнце светит со всей силы, жмет, кажется, светом давит. Тут я как с ума сошел, задохнулся прямо: как будто я – не я и все это сказка. Есть ничего с утра не хотел. Товарищи дорогие, я за вас по две вахты в море стоять буду – на берег отпустите скорей!

Выскочили вдвоем на берег. В порту, в городе все бурлит, кипит, народ толчется, а мы – как околтелые и не знаем, что смотреть, и не идем, а будто нас что несет (да и после моря по берегу всегда странно ходить). Смотрим – трамвай. Сели в трамвай, сами толком не знаем, зачем едем, лишь бы дальше, – очумели прямо. Трамвай нас мчит, мы глазеем по сторонам и не заметили, как выехали на окраину. Дальше не идет. Вылезли. Дорога. Пошли по дороге. Придем куда-нибудь!

Тут мы немного успокоились и заметили, что здорово жарко. Солнце над самой маковкой стоит; тень от тебя не ложится, а вся тень под тобой: идешь и тень свою топчешь.

Порядочно уже прошли, уж людей не стало встречаться, смотрим – навстречу слон. С ним четверо ребят – бегут рядом по дороге. Я прямо глазам не поверил: в городе ни одного не видали, а тут запросто идет по дороге. Мне казалось, что из зоологического вырвался. Слон нас увидел и остановился. Нам жутковато стало: больших при нем никого нет, ребята одни. А кто его знает, что у него на уме? Мотанет раз хоботом – и готово.



А слон, наверно, про нас так думал: идут какие-то необыкновенные, неизвестные, – кто их знает? И стал. Сейчас хобот загнул крючком, мальчишка старший стал на крюк на этот, как на подножку, рукой за хобот придерживается, и слон его осторожно отправил себе на голову. Тот там уселся между ушами, как на столе. Потом слон тем же порядком отправил еще двоих сразу, а третий был маленький, лет четырех, должно быть, – на нем только рубашонка была коротенькая, вроде лифчика. Слон ему подставляет хобот – иди, мол, садись. А он выкрутасы разные делает, хохочет, убегает. Старший кричит ему сверху, а он скачет и дразнит – не возмешь, мол. Слон не стал ждать, опустил хобот и пошел – сделал вид, что он на его фокусы и смотреть не хочет. Идет, хоботом мерно покачивает, а мальчишка вьется около ног, кривляется. И как раз, когда он ничего не ждал, слон вдруг хоботом цап! Да так ловко! Поймал его за рубашонку сзади и подымает вверх осторожно. Тот – руками, ногами, как жучок. Нет уж! Никаких тебе. Поднял слон, осторожно опустил себе на голову, а там ребята его приняли. Он там, на слоне, все еще воевать пробовал.

Мы поравнялись, идем стороной дороги, а слон – с другого бока и на нас внимательно и осторожно глядит. А ребята тоже на нас пялятся и шепчутся меж собой. Сидят, как на дому, на крыше.

«Вот, – думаю, – здорово: им нечего там бояться. Если б и тигр попался навстречу, слон тигра поймает, схватит хоботищем поперек живота, сдавит, швырнет выше дерева и, если на клыки не подцепит, все равно будет ногами топтать, пока в лепешку не растопчет».

А тут мальчишку взял, как козявку, двумя пальчиками: осторожно и бережно.

Слон прошел мимо нас; смотрим, сворачивает с дороги и попер в кусты. Кусты плотные, колючие, стеной растут. А он через них, как через бурьян, – только ветки похрустывают, – перелез и пошел к лесу. Остановился около дерева, взял хоботом ветку и пригнул ребятам. Те сейчас же повскакали на ноги, схватились за ветку и что-то с нее обирают. А маленький подскакивает, старается тоже себе ухватить, возится, будто он не на слоне, а на земле стоит. Слон пустил ветку и другую пригнул. Опять та же история. Тут уж маленький совсем, видно, в роль вошел: совсем залез на эту ветку, чтоб ему тоже досталось, и работает. Все кончили, слон пустил ветку, а маленький-то, смотрим, так и полетел с веткой. Ну, думаем, пропал – полетел теперь, как пуля, в лес. Бросились мы туда. Да нет, куда там! Не пролезть через кусты: колючие, и густые, и путаные. Смотрим, слон в листьях хоботом шарит. Нашупал этого маленького – он там, видно, обезьянкой уцепился – достал его и посадил на место. Потом слон вышел на дорогу впереди нас и пошел обратно. Мы за ним. Он идет и по временам оглядывается, на нас косится: чего, мол, сзади идут какие-то? Так мы за слоном пришли к дому. Вокруг плетень. Слон отворил хоботом калиточку и осторожно просунулся во двор; там ребят спустил на землю. Во дворе индуска на него начала кричать чего-то. Нас она сразу не заметила. А мы стоим, через плетень смотрим.

Индуска орет на слона – слон нехотя повернулся и пошел к колодцу. У колодца врыты два столба, и между ними вьюшка; на ней веревка намотана и ручка сбоку. Смотрим: слон взялся хоботом за ручку и стал вертеть; вертит как будто пустую, вытащил – целая бадья там на веревке, ведер десять. Слон уперся корнем хобота в ручку, чтобы не вертелась, изогнул хобот, подцепил бадью и, как кружку с водой, поставил на борт колодца. Баба набрала воды, ребят тоже заставила таскать – она как раз стирала. Слон опять бадью спустил и полную выкрутил вверх. Хозяйка опять его начала ругать. Слон пустил бадью в колодец, потряхнул ушами и пошел прочь – не стал воду больше доставать, пошел под навес. А там в углу двора на хлипких столбиках навес был устроен – только-только слону под него подлезть. Сверху камышу накинато и каких-то листьев длинных.

Тут как раз индус, сам хозяин. Увидал нас. Мы говорим – слона пришли смотреть. Хозяин немного знал по-английски. Спросил, кто мы; все на мою русскую фуражку показывает. Я говорю – русские. А он и не знал, что такое русские.

– Не англичане?

– Нет, – говорю, – не англичане.

Он обрадовался, засмеялся, сразу другой стал; позвал к себе.

А индусы англичан терпеть не могут: англичане давно их страну завоевали, распоряжаются там и индусов у себя под пяткой держат.

Я спрашиваю:

– Чего это слон не выходит?

– А это он, – говорит, – обиделся, и, значит, не зря. Теперь нипочем работать не станет, пока не отойдет.

Смотрим, слон вышел из-под навеса, в калитку – и прочь со двора. Думаем, теперь совсем уйдет. А индус смеется. Слон пошел к дереву, оперся боком и ну тереться. Дерево здоровое – прямо все ходуном ходит. Это он чешется так вот, как свинья об забор.

Почесался, набрал пыли в хобот и туда, где чесал, пылью, землей как дунет! Раз, и еще, и еще! Это он прочищает, чтобы не заводилось ничего в складках: вся кожа у него твердая, как подошва, а в складках – потоньше, а в южных странах всяких насекомых кусачих масса.

Ведь смотрите какой: об столбики в сарае не чешется, чтобы не развалить, осторожно даже пробирается туда, а чесаться ходит к дереву. Я говорю индусу:

– Какой он у тебя умный!

А он хохочет.

– Ну, – говорит, – если бы я полтора года лет прожил, не тому еще выучился бы. А он, – показывает на слона, – моего деда нянчил.

Я глянул на слона – мне показалось, что не индус тут хозяин, а слон, слон тут самый главный.

Я говорю:

– Старый он у тебя?

– Нет, – говорит, – ему полтора года лет, он в самой поре! Вон у меня слоненок есть, его сын, – двадцать лет ему, совсем ребенок. К сорока годам в силу только входить начинает. Вот погодите, придет слониха, увидите: он маленький.

Пришла слониха, и с ней слоненок – с лошадь величиной, без клыков; он за матерью, как жеребенок, шел.

Ребята индусовы бросились матери помогать, стали прыгать, куда-то собираться. Слон тоже пошел; слониха и слоненок – с ними. Индус объясняет, что на речку. Мы тоже с ребятами.

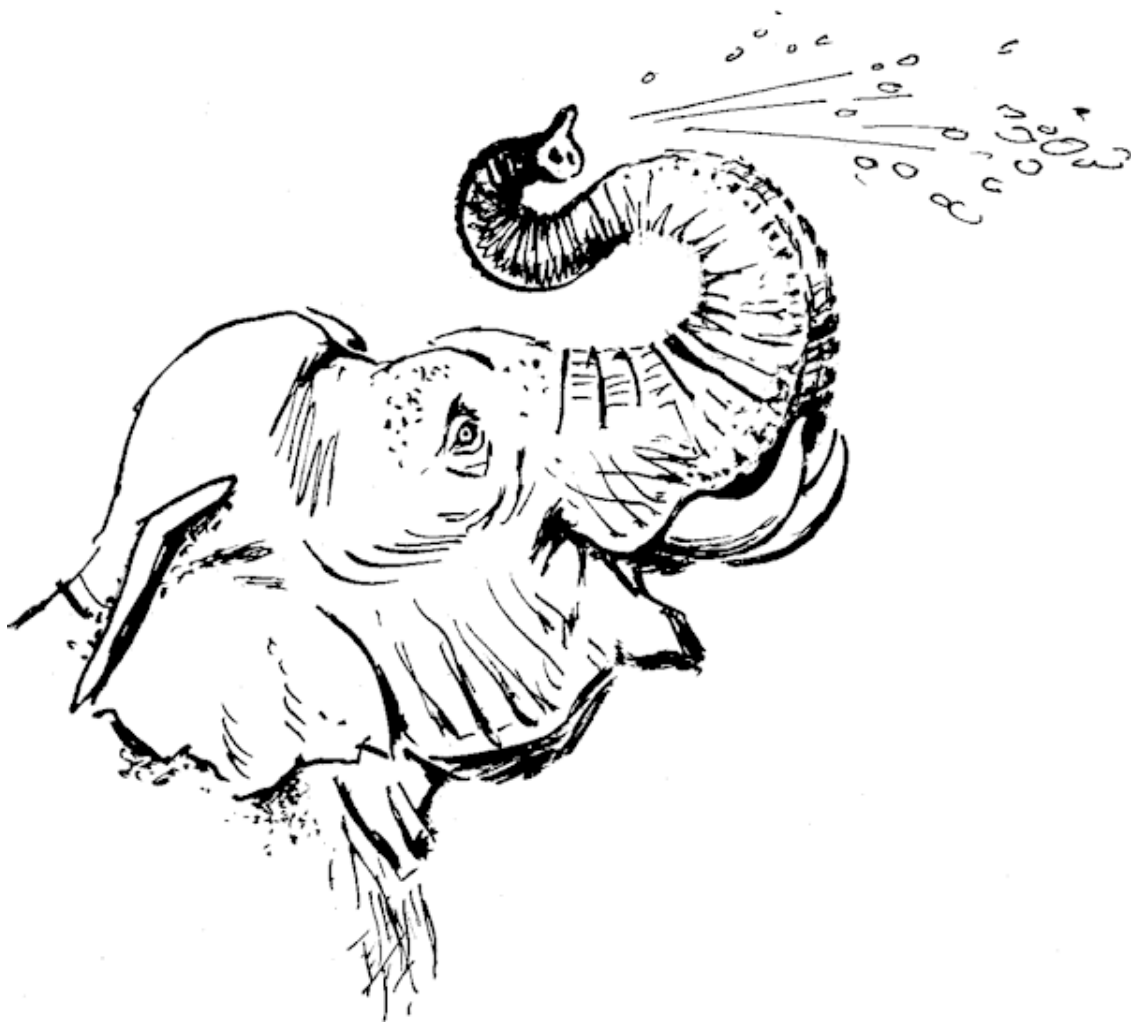
Они нас не дичились. Всё пробовали говорить – они по-своему, мы по-русски – и хохотали всю дорогу. Маленький больше всех к нам приставал: все мою фуражку надевал и что-то кричал смешное – может быть, про нас.

Воздух в лесу пахучий, пряный, густой.

Шли лесом. Пришли к реке.

Не река, а поток – быстрый, так и мчит, так берег и гложет. К воде обрывчик в аршин. Слоны вошли в воду, взяли с собой слоненка. Поставили, где ему по грудь вода, и стали его вдвоем мыть. Наберут со дна песку с водой в хобот и, как из кишки, его поливают. Здорова так – только брызги летят.

А ребята боятся в воду лезть – больно уж быстрое течение, унесет. Скачут на берегу и давай в слона камешками кидать. Ему нипочем, он даже внимания не обращает – все своего слоненка моет. Потом, смотрю, набрал в хобот воды и вдруг как повернет на мальчишек и одному прямо в пузо как дунет струей – тот так и сел. Хохоchet, заливается.



Слон опять своего мыть. А ребята еще пуще камешками его донимать. Слон только ушами трясет: не приставайте, мол, видите, некогда баловаться! И как раз, когда мальчишки не ждали, думали – он водой на слоненка дунет, он сразу хобот повернул да в них.

Те рады, кувыркаются.

Слон вышел на берег; слоненок ему хобот протянул, как руку. Слон заплел свой хобот об его и помог ему на обрывчик вылезти.



Пошли все домой: трое слонов и четверо ребят.

На другой день я уж расспросил, где можно слонов поглядеть на работе.

На опушке леса, у речки, нагроможден целый город тесаных бревен: штабеля стоят, каждый вышиной в избу. Тут же стоял один слон. И сразу видно было, что он уже совсем старик: кожа на нем совсем обвисла и заскорузла, и хобот, как тряпка, болтается. Уши обгрызенные какие-то. Смотрю, из лесу идет другой слон. В хоботе качается бревно – громадный брус обтесанный. Пудов, должно быть, во сто. Носильщик грузно переваливается, подходит к старому слону. Старый подхватывает бревно с одного конца, а носильщик опускает бревно и перебирается хоботом в другой конец. Я смотрю: что же это они будут делать? А слоны вместе, как

по команде, подняли бревно на хоботах вверх и аккуратно положили на штабель. Да так ровно и правильно – как плотник на постройке.

И ни одного человека около них.

Я потом узнал, что этот старый слон и есть главный артельщик: он уже состарился на этой работе.

Носильщик ушел не спеша в лес, а старик повесил хобот, повернулся задом к штабелю и стал смотреть на реку, как будто хотел сказать: «Надоело мне это, и не глядел бы».

А из лесу идет уже третий слон с бревном.

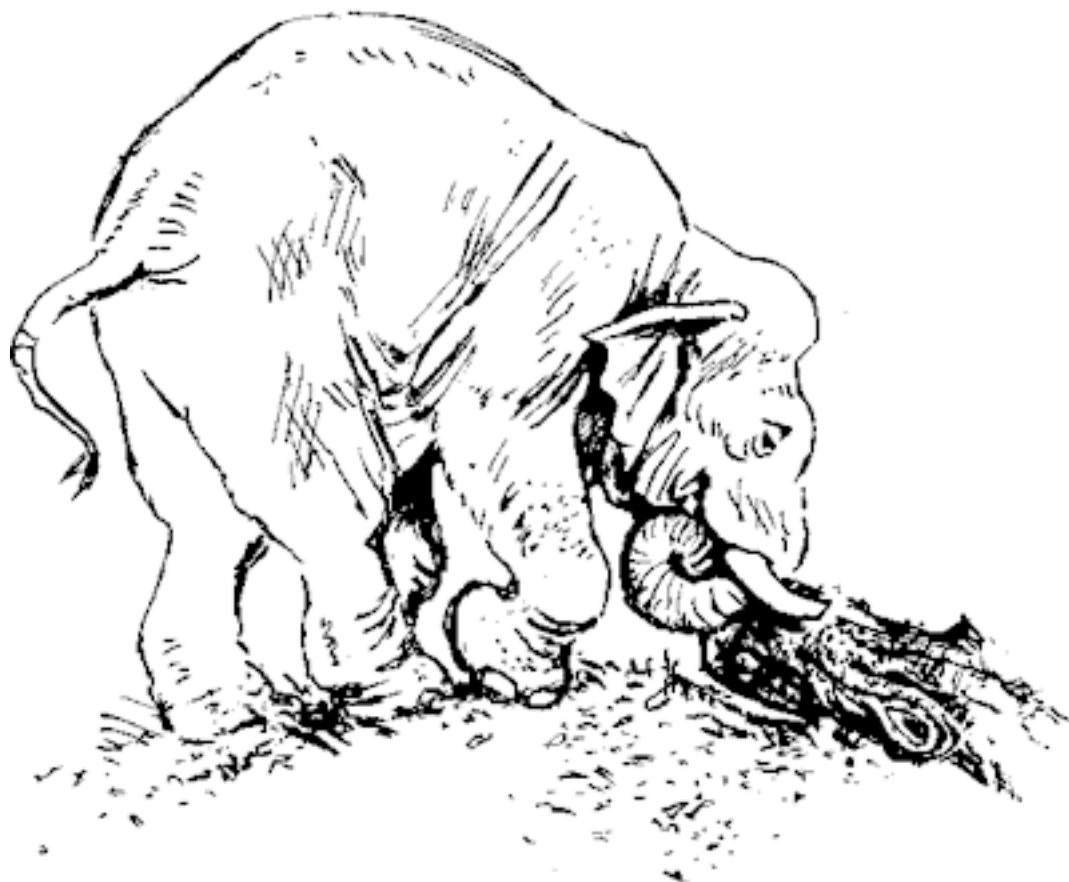
Мы – туда, откуда выходили слоны.

Прямо стыдно рассказывать, что мы тут увидели. Слоны с лесных разработок таскали эти бревна к речке. В одном месте у дороги – два дерева по бокам, да так, что слону с бревном не пройти. Слон дойдет до этого места, опустит бревно на землю, подвернет колени, подвернет хобот и самым носом, самым корнем хобота толкает бревно вперед. Земля, камни летят, трет и пашет бревно землю, а слон ползет и пихает. Видно, как трудно ему на коленях ползти. Потом встанет, отдышится и не сразу за бревно берется. Опять повернет его поперек дороги, опять на коленки. Положит хобот на землю и коленками накатывает бревно на хобот. Как хобот не раздавит! Гляди, снова уже встал и несет. Качается, как грузный маятник, бревнище на хоботе.

Их было восемь – всех слонов-носильщиков, – и каждому приходилось пихать бревно носом: люди не хотели спилить те два дерева, что стояли на дороге.

Нам неприятно стало смотреть, как тужится старик у штабеля, и жаль было слонов, что ползли на коленках. Мы недолго постояли и ушли.

1925



Про обезьянку



Мне было двенадцать лет, и я учился в школе. Раз на перемене подходит ко мне товарищ мой Юхименко и говорит:

– Хочешь, я тебе обезьянку дам?

Я не поверил – думал, он мне сейчас шутку какую-нибудь устроит так, что искры из глаз посыплутся, и скажет: «Вот это и есть «обезьянка». Не таковский я.

– Ладно, – говорю, – знаем.

– Нет, – говорит, – в самом деле. Живую обезьянку. Она хорошая. Ее Яшкой зовут. А папа сердится.

– На кого?

– Да на нас с Яшкой. Убирай, говорит, куда знаешь. Я думаю, что к тебе всего лучше.

После уроков пошли мы к нему. Я все еще не верил. Неужели, думал, живая обезьянка у меня будет? И все спрашивал, какая она. А Юхименко говорит:

– Вот увидишь, не бойся, она маленькая.

Действительно, оказалась маленькая. Если на лапки встанет, то не больше полуаршина. Мордочка сморщенная, старушечья, а глазки живые, блестящие. Шерсть на ней рыжая, а лапки черные. Как будто человечески руки в перчатках черных. На ней был надет синий жилет.

Юхименко закричал:

– Яшка, Яшка, иди! Что я дам!

И засунул руку в карман. Обезьянка закричала: «Ай, ай!» – и в два прыжка вскочила Юхименке на руки. Он сейчас же сунул ее в шинель, за пазуху.

– Идем, – говорит.

Я глазам своим не верил. Идем по улице, несем такое чудо, и никто не знает, что у нас за пазухой.

Дорогой Юхименко мне говорил, чем кормить.

– Всё ест, всё давай. Сладкое любит. Конфеты – беда. Дорвется – непременно обожрется. Чай любит жидкий и чтоб сладкий был. Ты ей внакладку. Два куска. Вприкуску не давай: сахар сожрет, а чай пить не станет.

Я все слушал и думал: я ей и трех кусков не пожалею, миленькая такая, как игрушечный человек. Тут я вспомнил, что и хвоста у ней нет.

– Ты, – говорю, – хвост отрезал ей под самый корень?

– Она макака, – говорит Юхименко, – у них хвостов не растет.

Пришли мы к нам домой. Мама и девочки сидели за обедом. Мы с Юхименкой вошли прямо в шинелях.

Я говорю:

– А кто у нас есть!

Все обернулись. Юхименко распахнул шинель. Никто еще ничего разобрать не успел, а Яшка как прыгнет с Юхименки маме на голову; толкнулся ножками – и на буфет. Всю прическу маме осадил.

Все вскочили, закричали:

– Ой, кто, кто это?

А Яшка уселся на буфет и строит морды, чавкает, зубки скалит.

Юхименко боялся, что сейчас ругать его будут, и скорей к двери. На него и не смотрели – все глядели на обезьянку. И вдруг девочки все в один голос затянули:

– Какая хорошенькая!

А мама все прическу прилаживала.

– Откуда это?

Я оглянулся. Юхименки уже нет. Значит, я остался хозяином. И я захотел показать, что знаю, как с обезьянкой надо. Я засунул руку в карман и крикнул, как давеча Юхименко:

– Яшка, Яшка! Иди, я тебе что дам!

Все ждали. А Яшка и не глянул – стал чесаться меленько и часто черной лапкой.

До самого вечера Яшка не спускался вниз, а прыгал по верхам: с буфета на дверь, с двери на шкаф, оттуда на печку.

Вечером отец сказал:

– Нельзя ее на ночь так оставлять, она квартиру вверх дном переверотит.

И я начал ловить Яшку. Я к буфету – он на печь. Я его оттуда шеткой – он прыг на часы. Качнулись часы и стали. А Яшка уже на занавесках качается. Оттуда – на картину, картина покосилась, – я боялся, что Яшка кинется на висячую лампу.

Но тут уже все собрались и стали гоняться за Яшкой. В него кидали мячиком, катушками, спичками и наконец загнали в угол.

Яшка прижался к стене, оскалился и защелкал языком – пугать начал. Но его накрыли шерстяным платком и завернули, запутали.



Яшка барахтался, кричал, но его скоро укрутили так, что осталась торчать одна голова. Он вертел головой, хлопал глазами и, казалось, сейчас заплачет от обиды.

Не пеленать же обезьяну каждый раз на ночь! Отец сказал:

– Привязать. За жилет – и к ножке, к столу.

Я принес веревку, нащупал у Яшки на спине пуговицу, продел веревку в петлю и крепко завязал. Жилет у Яшки на спине застегивался на три пугови. Потом я поднес Яшку, как он был, закутанного, к столу, привязал веревку к ножке и только тогда размотал платок.

Ух, как он начал скакать! Но где ему было порвать веревку! Он покричал, позлился и сел печально на полу.

Я достал из буфета сахару и дал Яшке. Он схватил черной лапочкой кусок, заткнул за щеку. От этого вся мордочка у него скривилась.

Я попросил у Яшки лапу. Он протянул мне свою ручку.

Тут я рассмотрел, какие на ней хорошенькие черные ноготки. Игрушечная живая ручка. Я стал гладить лапку и думаю: совсем как ребеночек. И пощекотал ему ладошку. А ребеночек-то как дернет лапку – раз, и меня по щеке. Я и мигнуть не успел, а он надавал мне оплеух и прыг под стол. Сел и скалится. Вот и ребеночек!

Но тут меня погнали спать.

Я хотел Яшку привязать к своей кровати, но мне не позволили. Я все прислушивался, что Яшка делает, и думал, что непременно ему надо устроить кроватку, чтоб он спал, как люди, и укрывался одеяльцем. Голову бы клал на подушечку. Думал, думал и заснул.

Утром вскочил и, не одеваясь, к Яшке. Нет Яшки на веревке. Веревка есть, на веревке жилет привязан, а обезьянки нет. Смотрю, все три пуговицы сзади расстегнуты. Это он расстегнул жилет, оставил его на веревке, а сам драла. Я искать по комнате. Шлепаю босыми ногами. Нигде нет. Я перепугался. А ну как убежал? Дня не пробыл, и вот на тебе! Я на шкафы заглядывал, в печку – нигде. Убежал, значит, на улицу. А на улице мороз – замерзнет, бедный. И самому стало холодно. Побежал одеваться. Вдруг вижу: в моей же кровати что-то возится. Одеяло шевелится. Я даже вздрогнул. Вот он где! Это ему холодно на полу стало, он удрал и ко мне на кровать. Забился под одеяло. А я спал и не знал. Яшка спросонья не дичился, дался в руки, и я напялил на него снова синий жилет.

Когда сели пить чай, Яшка вскочил на стол, огляделся, сейчас же нашел сахарницу, запустил лапу и прыг на дверь. Он прыгал так легко, что казалось – летает, не прыгает. На ногах у обезьяны пальцы, как на руках, и Яшка мог хватать ногами. Он так и делал. Сидит, как ребенок, на руках у кого-нибудь и ручки сложил, а сам ногой со стола тянет что-нибудь.

Стащит ножик и ну с ножом скакать. Это чтобы у него отнимали, а он будет удирать. Чай Яшке дали в стакане. Он обнял стакан, как ведро, пил и чмокал. Я уж не пожалел сахару.

Когда я ушел в школу, я привязал Яшку к дверям, к ручке. На этот раз обвязал его вокруг пояса веревкой, чтобы уж не мог сорваться. Когда я пришел домой, то из прихожей увидел, чем Яшка занимается. Он висел на дверной ручке и катался на дверях, как на карусели. Оттолкнется от косяка и едет до стены. Пихнет ножкой в стену и едет назад.

Когда я сел готовить уроки, я посадил Яшку на стол. Ему очень нравилось греться около лампы. Он дремал, как старичок на солнышке, покачивался и, прищурясь, глядел, как я тыкаю пером в чернила. Учитель у нас был строгий, и я чистенько написал страницу. Промокать не хотелось, чтобы не испортить. Оставил сохнуть. Прихожу и вижу: сидит Яков на тетради, макает пальчик в чернильницу, ворчит и выводит чернильные вавилоны по моему писанию. Ах ты, дрянь! Я чуть не заплакал с горя. Бросился на Яшку. Да куда! Он на занавески – все занавески чернилами перепачкал. Вот оно почему Юхименкин папа на них с Яшкой сердился...

Но раз и мой папа рассердился на Яшку. Яшка обрывал цветы, что стояли у нас на окнах. Сорвет лист и дразнит. Отец поймал и отдул Яшку. А потом привязал его в наказание на лестнице, что вела на чердак. Узенькая лесенка. А широкая шла из квартиры вниз.

Вот отец идет утром на службу. Почистился, надел шляпу, спускается по лестнице. Хлоп! Штукатурка падает. Отец остановился, стряхнул со шляпы. Глянул вверх – никого. Только пошел – хлоп, опять кусок известки прямо на голову. Что такое?

А мне сбоку было видно, как орудовал Яшка. Он наломал от стенки известки, разложил по краям ступенек, а сам прилег, притаился на лестнице, как раз у отца над головой. Только отец пошел, а Яшка тихонечко толк ножкой штукатурку со ступеньки и так ловко примерил, что прямо отцу на шляпу, – это он ему мстил за то, что отец вздул его накануне.

Но когда началась настоящая зима, завыл ветер в трубах, завалило окна снегом, Яшка стал грустным. Я его все грел, прижимал к себе. Мордочка у Яшки стала печальная, обвисшая, он подвизгивал и жался ко мне. Я попробовал сунуть его за пазуху, под куртку. Яшка сейчас же там устроился: он схватился всеми четырьмя лапками за рубаху и так повис, как приклеился. Он так и спал там, не разжимая лап. Забудешь другой раз, что у тебя живой набрюшник под курткой, и обопрешься о стол. Яшка сейчас лапкой заскребет мне бок: дает мне знать, чтоб осторожней.

Вот раз в воскресенье пришли в гости девочки. Сели завтракать. Яшка смирно сидел у меня за пазухой, и его совсем не было заметно. Под конец роздали конфеты. Только я стал первую разворачивать, вдруг из-за пазухи, прямо из моего живота, вытянулась мохнатая ручка, ухватила конфету и назад. Девочки взвизгнули от страха. А это Яшка услышал, что бумагой шелестят, и догадался, что едят конфеты. А я девочкам говорю: «Это у меня третья рука; я этой рукой прямо в живот конфеты сую, чтоб долго не возиться». Но уж все догадались, что это обезьянка, и из-под куртки слышно было, как хрустит конфета: это Яшка грыз и чавкал, как будто я животом жую.

Яшка долго злился на отца. Примирился Яшка с ним из-за конфет. Отец мой как раз бросил курить и вместо папирос носил в портсигаре маленькие конфетки. И каждый раз после обеда отец открывал тугую крышку портсигара большим пальцем, ногтем, и доставал конфетки. Яшка тут как тут: сидит на коленях и ждет, – ерзает, тянется. Вот отец раз и отдал весь портсигар Яшке. Яшка взял его в руку, а другой рукой, совершенно как мой отец, стал подковыривать большим пальцем крышку. Пальчик у него маленький, а крышка тугая и плотная, и ничего не выходит у Яшеньки. Он завыл с досады. А конфеты брякают. Тогда Яшка схватил отца за большой палец и его ногтем, как стамеской, стал отковыривать крышку. Отца это расшемило, он открыл крышку и поднес Яшке. Яшка сразу запустил лапу, нагребастал полную горсть, скорей в рот и бегом прочь. Не каждый же день такое счастье!

Был у нас знакомый доктор. Болтать любил – беда. Особенно за обедом. Все уж кончили, у него на тарелке все остыло, тогда он только хватится – поковыряет, наспех глотнет два куска.

– Благодарю вас, я сыт.

Вот раз обедает он у нас, ткнул вилку в картошку и вилкой этой размахивает – говорит. Разошелся – не унять. А Яшка, вижу, по спинке стула поднимается, тихонечко подкрался и сел у доктора за плечом. Доктор говорит:

– И понимаете, тут как раз... – И остановил вилку с картошкой возле уха – на один момент всего.

Яшенька лапочкой тихонько за картошку и снял ее с вилки – осторожно, как вор. А доктор дальше:

– И представьте себе... – И тык пустой вилкой себе в рот. Сконфузился – думал, страхнул картошку, когда руками махал, оглядывается.

А Яшки уж нет – сидит в углу и прожевать картошку не может, всю глотку забил.

Доктор сам смеялся, а все-таки обиделся на Яшку.

Яшке устроили в корзинке постель: с простыней, одеяльцем, подушкой. Но Яшка не хотел спать по-человечьи: все наматывал на себя клубком и таким чучелом сидел всю ночь. Ему сшили платице, зелененькое, с пелеринкой, и стал он похож на стриженую девочку из приюта.

Вот раз я слышу звон в соседней комнате. Что такое? Пробираюсь тихонько и вижу: стоит на подоконнике Яшка в зеленом платице, в одной руке у него ламповое стекло, а в другой

ежик, и он ежиком с остервенением чистит стекло. В такую ярость пришел, что не слышал, как я вошел. Это он видел, как стекла чистили, и давай сам пробовать.

А то оставишь его вечером с лампой, он отвернет огонь полным пламенем – лампа коптит, сажа летает по комнате, а он сидит и рычит на лампу.

Беда стало с Яшкой, хоть в клетку сажай. Я его и ругал и бил. Но долго не мог на него сердиться. Когда Яшка хотел понравиться, он становился очень ласковым, залезал на плечо и начинал в голове искать. Это значит – он вас уж очень любит.

Надо ему выпросить что-нибудь – конфет там или яблоко, – сейчас залезет на плечо и заботливо начинает лапками перебирать в волосах: ищет и ноготком поскребывает. Ничего не находит, а делает вид, что поймал зверя: выкусывает с пальчиков чего-то.

Вот раз пришла к нам в гости дама. Она считала, что она красавица. Разряженная. Вся так шелком и шуршит. На голове не прическа, а прямо целая беседка из волос накручена – в завитках, в локончиках. А на шее на длинной цепочке зеркальце в серебряной оправе.

Яшка осторожно к ней по полу подскочил.

– Ах, какая обезьянка милотная! – говорит дама. И давай зеркальцем с Яшкой играть.

Яшка поймал зеркальце, повертел – прыг на колени к даме и стал зеркальце на зуб пробовать.

Дама отняла зеркальце, зажала в руке. А Яшке хочется зеркало получить. Дама погладила небрежно Яшку перчаткой и потихоньку спихивает с колен. Вот Яшка и решил понравиться, подольститься к даме. Прыг ей на плечо. Крепко ухватился за кружева задними лапками и взялся за прическу. Раскопал завитки и стал искать. Дама покраснела.

– Пошел, пошел! – говорит.

Не тут-то было! Яшка еще больше старается: скребет ноготками, зубками щелкает.



Дама эта всегда против зеркала садилась, чтоб на себя полюбоваться, и видит в зеркало, что взлохматил ее Яшка, – чуть не плачет. Я двинулся на выручку. Куда там! Яшка вцепился что было силы в волосы и на меня глядит дико. Дама дернула его за шиворот, и своротил ей

Яшка прическу. Глянула на себя в зеркало – чучело чучелом. Я замахнулся, спугнул Яшку, а гостья наша схватилась за голову и в дверь.

– Безобразие, – говорит, – безобразие! – И не попрощалась ни с кем.

«Ну, – думаю, – держу до весны и отдам кому-нибудь, если Юхименко не возьмет. Уж столько мне попадало за эту обезьянку».

И вот настала весна. Потеплело. Яшка ожил и еще больше проказил. Очень ему хотелось на двор, на волю. А двор у нас был огромный, с десятину. Посреди двора был сложен горой казенный уголь, а вокруг склады с товаром. И от воров сторожа держали на дворе целую свору собак. Собаки большие, злые. А всеми собаками командовал рыжий пес Каштан. На кого Каштан зарычит, на того все собаки бросаются. Кого Каштан пропустит, и собаки не тронут. А чужую собаку бил Каштан с разбегу грудью. Ударит, с ног собьет и стоит над ней, рычит, а та уж и шелохнуться боится.

Я посмотрел в окно – вижу, нет собак во дворе. Дай, думаю, пойду выведу Яшеньку погулять первый раз. Я надел на него зелененькое платьице, чтобы он не простудился, посадил к себе на плечо и пошел. Только я двери раскрыл, Яшка – прыг наземь и побежал по двору. И вдруг, откуда ни возьмись, вся стая собачья, и Каштан впереди, прямо на Яшку. А он, как зелененькая куколка, стоит маленький. Я уж решил, что пропал Яшка – сейчас разорвут. Каштан сунулся к Яшке. Но Яшка повернулся к нему, присел, прицелился. Каштан стал за шаг от обезьянки, оскалится и ворчал, но не решался броситься на такое чудо. Собаки все ошетинились и ждали, что Каштан.

Я хотел броситься выручать. Но вдруг Яшка прыгнул и в один момент уселся Каштану на шею. И тут шерсть клочьями полетела с Каштана. По морде и глазам бил Яшка, так что лап не видно было. Взыл Каштан, и таким ужасным голосом, что все собаки врассыпную бросились. Каштан сломя голову пустился бежать, а Яшка сидит, вцепился ногами в шерсть, крепко держится, а руками рвет Каштана за уши, щиплет шерсть клочьями. Каштан с ума сошел: носится вокруг угольной горы с диким воем. Раз три обежал Яшка верхом вокруг двора и на ходу спрыгнул на уголь. Взобрался не торопясь на самый верх. Там была деревянная будка; он влез на будку, уселся и стал чесать себе бок как ни в чем не бывало. Вот, мол, я, – мне нипочем!

А Каштан – в ворота от страшного зверя.

С тех пор я смело стал выпускать Яшку во двор: только Яшка с крыльца – все собаки в ворота. Яшка никого не боялся.

Приедут во двор подводы, весь двор забьют, пройти негде. А Яшка с возу на воз перелезает. Вскочит лошади на спину – лошадь топчется, гривой трясет, фыркает, а Яшка не спеша на другую перепрыгивает. Извозчики только смеются и удивляются:

– Смотри, какая сатана прыгает. Ишь ты! У-ух!

А Яшка – на мешки. Ищет щелочки. Просунет лапку и щупает, что там. Нащупает, где подсолнухи, сидит и тут же на возу шелкает. Бывало, что и орехи нащупает Яшка. Набьет за щеки и во все четыре руки старается нагрести.

Но вот нашелся у Якова враг. Да какой! Во дворе был кот. Ничей. Он жил при конторе, и все его кормили объедками. Он разжирел, стал большой, как собака. Злой был и царапучий.

И вот раз под вечер гулял Яшка по двору. Я его никак не мог дозваться домой. Вижу, вышел на двор котище и прыг на скамью, что стояла под деревом. Яшка как увидел кота – прямо к нему. Присел и идет не спеша на четырех лапах. Прямо к скамье и глаз с кота не спускает. Кот подобрал лапы, спину нагорбил, приготовился. А Яшка все ближе ползет. Кот глаза вытарашил, пятится. Яшка – на скамью. Кот все задом на другой край, к дереву. У меня сердце замерло. А Яков по скамье ползет на кота. Кот уж в комок сжался, подобрался весь. И вдруг – прыг, да не на Яшку, а на дерево. Вцепился за ствол и глядит сверху на обезьянку. А Яшка все тем же ходом к дереву. Кот поцарапался выше – привык на деревьях спасаться. А Яшка на дерево, и все не спеша, целится на кота черными глазками. Кот выше, выше, влез на

ветку и сел с самого краю. Смотрит, что Яшка будет делать. А Яков по той же ветке ползет и так уверенно, будто он сроду ничего другого не делал, а только котов ловил. Кот уж на самом краю, на тоненькой веточке еле держится, качается. А Яков ползет и ползет, цепко перебирает всеми четырьмя ручками. Вдруг кот прыг с самого верху на мостовую, встряхнулся я во весь дух прочь без оглядки. А Яшка с дерева ему вдогонку: «Йай, йау!» – каким-то страшным, звериным голосом, – я у него никогда такого не слышал.

Теперь уж Яков стал совсем царем во дворе. Дома он уж есть ничего не хотел, только пил чай с сахаром. И раз так на дворе изюму наелся, что еле-еле его отходили. Яшка стонал, на глазах слезы, и на всех капризно смотрел. Всем было сначала очень жалко Яшку, но когда он увидел, что с ним возятся, стал ломаться и разбрасывать руки, закидывать голову и подвывать на разные голоса. Решили его укутать и дать касторки. Пусть знает.

А касторка ему так понравилась, что он стал орать, чтобы ему еще дали. Его запеленали и три дня не пускали на двор.

Яшка скоро поправился и стал рваться на двор. Я за него не боялся. Поймать его никто не мог, и Яшка целыми днями прыгал по двору. Дома стало спокойнее, и мне меньше влетало за Яшку. И как настала осень, все в доме в один голос:

– Куда хочешь убирай свою обезьянку или сажай в клетку. А чтоб по всей квартире эта сатана не носилась.

То говорили, какая хорошенькая, а теперь, думаю, сатана стала. И как только началось ученье, я стал искать в классе, кому бы сплавить Яшку.

Подыскал наконец товарища, отозвал в сторону и сказал:

– Хочешь, я тебе обезьянку подарю? Живую.

Не знаю уж, кому он потом Яшку сплавил. Но первое время, как не стало Яшки в доме, я видел, что все немного скучали, хоть признаваться и не хотели.

1927

Мангуста



Я очень хотел, чтобы у меня была настоящая, живая мангуста. Своя собственная. И я решил: когда наш пароход придет на остров Цейлон, я куплю себе мангусту и отдам все деньги, сколько ни спросят.

И вот наш пароход у острова Цейлона. Я хотел скорее бежать на берег, скорее найти, где они продаются, эти зверьки. И вдруг к нам на пароход приходит черный человек (тамошние люди все черные), и все товарищи обступили его, толпятся, смеются, шумят. И кто-то крикнул: «Мангусты!» Я бросился, всех растолкал и вижу: у черного человека в руках клетка, а в ней серые зверьки. Я так боялся, чтобы кто-нибудь не перехватил, что закричал прямо в лицо этому человеку:

— Сколько?

Он даже испугался сначала — так я крикнул. Потом понял, показал три пальца и сунул мне в руки клетку. Значит, всего три рубля, с клеткой вместе, и не одна, а две мангусты! Я

сейчас же расплатился и перевел дух: я совсем запыхался от радости. Так обрадовался, что забыл спросить этого черного человека, чем кормить мангуст, ручные они или дикие. А вдруг они кусаются? Я спохватился, побежал за человеком, но его уже и след простыл.

Я решил сам узнать, кусаются мангустики или нет. Я просунул палец через прутья клетки. И просунуть-то не успел, как уж слышу – готово: мой палец схватили. Схватили маленькие лапки, цепкие, с ноготками. Быстро-быстро кусает меня мангустика за палец. Но совсем не больно – это она нарочно, так – играет. А другая забилась в угол клетки и глядит искоса черным блестящим глазом.

Мне скорей захотелось взять на руки, погладить эту, что кусает для шутки. И только я приоткрыл клетку, эта самая мангустика – юрк! – и уж побежала по каюте. Она суежилась, бегала по полу, все нюхала и кричала: «кряк! кряк!» – как будто ворона. Я хотел ее поймать, нагнулся, протянул руку, и вмиг мангустика мелькнула мимо моей руки и уже в рукаве. Я поднял руку – и готово: мангустика уж за пазухой. Она выглянула из-за пазухи, крикнула весело и снова спряталась. И вот слышу: она уже под мышкой, пробирается в другой рукав и выскочила из другого рукава на волю. Я хотел ее погладить и только поднес руку, как вдруг мангустика подскочила вверх сразу на всех четырех лапах, как будто под каждой лапой пружинка. Я даже руку отдернул, будто от выстрела. А мангустика снизу глянула на меня веселыми глазками и снова: кряк! И смотрю – уж сама на колени ко мне взобралась и тут свои фокусы показывает: то свернется, то вмиг расправится, то хвост трубой, то вдруг голову просунет меж задних ног. Она так ласково, так весело со мной играла, а тут вдруг постучали в каюту и вызвали меня на работу.

Надо было погрузить на палубу штук пятнадцать огромных стволов каких-то индийских деревьев. Они были корявые, с обломанными сучьями, дуплистые, толщенные, в коре – как были из лесу. Но с отпиленного конца видно было, какие они внутри красивые – розовые, красные, совсем черные! Мы клали их горкой на палубу и накрепко укручивали цепями, чтобы в море не разболталось. Я работал и все думал: «Что там мои мангустики? Ведь я им ничего поесть не оставил».

Я спрашивал черных грузчиков, тамошних людей, что пришли с берега, не знают ли они, чем кормить мангустику, но они ничего не понимали и только улыбались. А наши говорили:

– Давай что попало: она сама разберет, что ей надо.

Я выпросил у повара мяса, купил бананов, притаил хлеба, блюдо молока. Все это поставил посреди каюты и открыл клетку. Сам залез на койку и стал глядеть. Из клетки выскочила дикая мангустика, и они вместе с ручной прямо бросились на мясо. Они рвали его зубами, кричали и урчали, лакали молоко, потом ручная ухватила банан и потащила его в угол. Дикая – прыг! – и уж рядом с ней. Я хотел поглядеть, что будет, вскочил с койки, но уж поздно: мангустики бежали назад. Они облизывали мордочки, а от банана остались на полу одни шкурки, как тряпочки.

Наутро мы были уже в море. Я всю свою каюту увесил гирляндами бананов. Они на веревочках качались под потолком. Это для мангуст. Я буду давать понемногу – надолго хватит. Я выпустил ручную мангустику, и она теперь бегала по мне, а я лежал полузакрыв глаза и недвижно.

Гляжу: мангустика прыгнула на полку, где были книги. Вот она перелезла на раму круглого парового окна. Рама слегка вихлялась – паровик качало. Мангустика покрепче примостилась, глянула вниз на меня. Я притаился. Мангустика толкнула лапкой в стенку, и рама поехала вбок. И в тот самый миг, когда рама была против банана, мангустика рванулась, прыгнула и обеими лапками ухватила банан. Она повисла на момент в воздухе, под самым потолком. Но банан оторвался, и мангустика шлепнулась об пол. Нет! Шлепнулся-то банан. Мангустика прыгнула на все четыре лапки. Я привскочил поглядеть, но мангустика уже возилась под койкой. Через минуту она вышла с замазанной мордой. Она покрывала от удовольствия.

Эге! Пришлось перевесить бананы к самой середине каюты: мангуста уже пробовала по полотенцу вскарабкаться повыше. Лазила она, как обезьяна: у нее лапки как ручки. Цепкие, ловкие, проворные. Она совсем меня не боялась. Я выпустил ее на палубу погулять, на солнце. Она сразу по-хозяйски все обнюхала и бегала по палубе так, будто она и сроду нигде больше не была и тут ее дом.

Но на пароходе у нас был свой давнишний хозяин на палубе. Нет, не капитан, а кот. Громадный, откормленный, в медном ошейнике. Он важно ходил по палубе, когда было сухо. Сухо было и в этот день. И солнце поднялось над самой мачтой. Кот вышел из кухни, поглядел, все ли в порядке.

Он увидел мангусту и быстро пошел, а потом начал осторожно красться. Он шел по железной трубе. Она тянулась по палубе. Как раз у этой трубы суежилась мангуста. Она как будто и не видела кота. А кот был уж совсем над нею. Ему оставалось только протянуть лапу, чтобы вцепиться когтями ей в спину. Он выжидал, чтобы поудобней. Я сразу сообразил, что сейчас будет. Мангуста не видит, она спиной к коту, она разнюхивает палубу как ни в чем не бывало; кот уж прицелился.

Я бросился бегом. Но я не добежал. Кот протянул лапу. И в тот же миг мангуста просунула голову меж задних лап, разинула пасть, громко каркнула, а хвост – громадный пушистый хвост – поставила вверх столбом, и он стал как ламповый ежик, что стекла чистят. В одно мгновение она обратилась в непонятное, невиданное чудище. Кота отбросило назад, как от каленого железа. Он сразу повернул и, задрвав хвост палкой, понесся прочь без оглядки. А мангуста как ни в чем не бывало снова суежилась и что-то разнюхивала на палубе. Но с тех пор красавца кота редко кто видел. Мангуста на палубе – кота и не сыщешь. Его звали и «кис-кис» и «Васенька». Повар его мясом приманивал, но кота найти нельзя было, хоть обыщи весь пароход. Зато у кухни теперь вертелись мангустаны; они кричали, требовали от повара мяса. Бедный Васенька только по ночам пробирался к повару в каюту, и повар его прикармливал мясом. Ночью, когда мангустаны были в клетке, наступало Васькино время.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.